

СЕРИЯ  
“ЧУЖЕСТРАНЦЫ”

СЕРГЕЙ БЕЛЯКОВ

Парижские  
мальчики  
в сталинской  
Москве

**ШЕ**  
РЕДАКЦИЯ  
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Сергей Беляков

**Парижские мальчики  
в сталинской Москве**

«Издательство АСТ»

2022

УДК 94(477)"18"

ББК 94(477)"18"

**Беляков С. С.**

Парижские мальчики в сталинской Москве / С. С. Беляков —  
«Издательство АСТ», 2022

ISBN 978-5-17-132830-6

Сергей Беляков – историк и писатель, автор книг “Гумилев сын Гумилева”, “Тень Мазепы. Украинская нация в эпоху Гоголя”, “Весна народов. Русские и украинцы между Булгаковым и Петлюрой”, лауреат премии “Большая книга”, финалист премий “Национальный бестселлер” и “Ясная Поляна”. Сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон, более известный под домашним именем «Мур», родился в Чехии, вырос во Франции, но считал себя русским. Однако в предвоенной Москве одноклассники, приятели, девушки видели в нем – иностранца, парижского мальчика. «Парижским мальчиком» был и друг Мура, Дмитрий Сеземан, в это же время приехавший с родителями в Москву. Жизнь друзей в СССР кажется чередой несчастий: аресты и гибель близких, бездомье, эвакуация, голод, фронт, где один из них будет ранен, а другой погибнет... Но в их московской жизни были и счастливые дни. Сталинская Москва – сияющая витрина Советского Союза. По новым широким улицам мчатся «линкольны», «паккарды» и ЗИСы, в Елисеевском продают деликатесы: от черной икры и крабов до рокфора... Эйзенштейн ставит «Валькирию» в Большом театре, в Камерном идёт «Мадам Бовари» Таирова, для москвичей играют джазмены Эдди Рознера, Александра Цфасмана и Леонида Утесова, а учителя танцев зарабатывают больше инженеров и врачей... Странный, жестокий, но яркий мир, где утром шли в приемную НКВД с передачей для арестованных родных, а вечером сидели в ресторане «Националь» или слушали Святослава Рихтера в Зале Чайковского. В формате PDF А4 сохранен издательский макет.

УДК 94(477)"18"

ББК 94(477)"18"

ISBN 978-5-17-132830-6

© Беяков С. С., 2022

© Издательство АСТ, 2022

## Содержание

Вместо предисловия	7
Воскресное дитя	8
Офицер Русской армии	10
Шпионов целая семья	13
“Деятельность вашего мужа была ошеломляющей”	15
Два разговора	17
Назад пути нет	20
Русская жара	23
Первая коммуналка и первые соседи	25
Темные месяцы	27
Смертники	30
Перемена участи	32
Русская зима	34
Большая болезнь	36
“Мой голицынский друг”	40
За чтением советских газет	43
Весна и Митька	48
Пасху пропустили	50
Конец ознакомительного фрагмента.	51

# **Сергей Беляков**

## **Парижские мальчики в сталинской Москве. Документальный роман**

В издании использованы фотографии из собрания Дома-музея Марины Цветаевой, РГАЛИ, ГМИРЛИ имени В.И.Даля, Мультимедиа Арт Музея “Московский дом фотографии”, а также из архивов Натальи Сеземан и Марины Мошанской (Сеземан), Никиты Кривошеина, Александра Лаврентьева, Натальи Евзерихиной-Ратниковой и Марии Жотиковой

© Беляков С.С., текст

© Бондаренко А.Л., оформление

© ООО “Издательство АСТ”

## Вместо предисловия

1976 год. Париж. Советский переводчик Дмитрий Сеземан, приехавший по туристической визе, попросил политического убежища. Таких, как он, в СССР называли невозвращенцами. Только к Дмитрию Сеземану это слово совсем не подходило. Да и политических мотивов в его поступке не было. Дмитрий Васильевич не сбежал. Он вернулся в родную страну. В город, где он вырос, где прошло его детство. Скоро он даст интервью для “Радио Свобода”.

*ДМИТРИЙ СЕЗЕМАН: Я вот тут как-то спросил у парижанина: “Знаете ли вы, чем пахнет парижское метро?” И сам ответил ему: “Нет, вы не знаете, чем пахнет парижское метро. А я этот запах парижского метро 40 лет хранил и 40 лет помнил”.<sup>1</sup>*

Он уехал в Советский Союз вместе с мамой, Ниной Николаевной, в 1937 году. А через два года, в июне 1939-го, Марина Ивановна Цветаева увезла в Советский Союз своего сына Георгия, которого чаще называли домашним именем Мур. Мур и Дмитрий станут друзьями, будут вместе гулять по предвоенной сталинской Москве и вспоминать оставленный ими Париж. Оба со временем захотят вернуться во Францию.

Я хотел сделать друзей героями этой книги, поэтому и назвал ее “Парижские мальчики”, а не “Парижский мальчик”. И Дмитрий, и его брат Алексей Сеземан вполне достойны этого. Увы, Алексей не оставил ни дневников, ни воспоминаний. Дмитрий до января 1941-го вел дневник одновременно с Муром, но потом бросил<sup>1</sup>. Вести дневник в те годы – смертельный риск. При аресте он мог стать опасной уликой, неосторожная фраза утяжелила бы приговор. Дмитрий был совершенно прав. Только вот мы лишились ценнейшего источника, незаменимого.

Полвека спустя Сеземан напишет воспоминания на русском и на французском, даст несколько интереснейших интервью, но они не могут заменить настоящего интимного дневника. Их автор – немолодой человек. Он охотно пишет о России и Европе, о Петре Великом и о значении свободы для русской аристократии, но до обидного мало – о себе самом в пятнадцать лет. И нам не узнать, что думал, что чувствовал, от чего страдал юный Митя Сеземан. А Георгий Эфрон несколько лет старательно записывал свои мысли, чувства, пусть и мимолетные, с потрясающей откровенностью рассказывал о самых интимных и даже постыдных желаниях и поступках. К своему дневнику он относился чрезвычайно серьезно, полюбил его, как любят самые близкие, дорогие вещи, как некоторые писатели любят свои лучшие книги. “Мой милый, любимый дневник”, – запишет Мур осенью 1941-го, в то время совершенно одинокий. И теперь из дневниковых записей и писем, из воспоминаний других людей, из множества источников, что хранятся в государственных и личных архивах, можно воссоздать образ настоящего, почти живого Мура. Воскресить его для этой книги.

А название я все-таки менять не стал. Мур был одним из парижских мальчиков. В его чертах мы находим не только особенное, индивидуальное, но и общее, что объединяет несколько человек. Советских людей по гражданству. Русских по рождению. Французов по воспитанию и культуре. Если бы сын Цветаевой дожил до 1976 года, он, вероятно, составил бы компанию своему “другу Мите” и вернулся бы в Париж. Но жизнь Мура сложилась иначе.

---

<sup>1</sup> Запись в дневнике Георгия Эфрона: “Митя <...> перестал писать дневник, опасаясь, чтобы этот дневник не попал в руки наркомвнудела”. См.: Эфрон Г.С. Дневники. М.: Вагриус, 2005. Т. 1. С. 276. Дневник Дмитрия Сеземана не сохранился.

## Воскресное дитя

Вечером 31 января 1925 года в деревню Горни Мокропсы к тридцатилетнему доктору Григорию Исааковичу Альтшуллеру прибежал чешский мальчик: “Пани Цветаева хочет, чтобы вы немедленно к ней пришли, у нее уже схватки! Вам следует поторопиться, это уже началось”. Цветаева жила в соседней деревне Вшеноры, где были и чешский доктор, и повивальная бабка. Но доктор куда-то отлучился, а повивальная бабка принимала роды у другой женщины. И Цветаева послала за доктором Альтшуллером, с которым познакомилась несколько месяцев назад и предсказала, что именно он будет принимать ее ребенка.

Был сильнейший снегопад с метелью. Альтшуллер напишет в своих воспоминаниях о “яростной буре”, о суровой зиме в окрестностях Праги, о густом заснеженном лесу, что отделял Горни Мокропсы от Вшенор. Григорий Исаакович вырос в Ялте, оттого мягкая европейская зима казалась ему холодной, а волшебная метель – страшной бурей. Он пошел не по дороге, а как раз через лес, чтобы сократить путь. В комнате у Цветаевой горела единственная электрическая лампочка. В одном углу комнаты были сложены кипы книг, едва ли не до потолка. Другой угол был завален мусором: “Марина лежала на постели, пуская кольца дыма, – ребенок уже выходил. Она весело меня поприветствовала: «Вы почти опоздали!» Я оглядел комнату в поисках какой-нибудь чистой ткани и кусочка мыла. Не оказалось ничего: ни чистого носового платка, ни тряпки. Марина лежала в кровати, курила и говорила, улыбаясь: «Я же сказала вам, что вы будете принимать<sup>2</sup> моего ребенка. Вы пришли – и теперь это не мое, а ваше дело»”.

Мальчик родился воскресным утром (по словам Цветаевой – “в полдень, в снежный вихрь”) 1 февраля 1925 года. *Sonntagskind* – воскресное дитя.

Имя ребенок получил в честь святого Георгия, покровителя Москвы, любимого и родного города Цветаевой. Но она чаще звала мальчика Муром: “Георгий – Барсик – Мур. Всё вело к Муру. Во-первых, в родстве с моим именем, во-вторых – *Kater Murr* – Германия<sup>3</sup>, в-третьих, само, вне символики, как утро в комнату”.

Очень скоро возник слух, будто бы отцом мальчика был не законный муж Сергей Эфрон, а Константин Родзевич. Его роман с Цветаевой не был тайной. Но Родзевич сына не признал, а Эфрон и признал, и полюбил всей душой: “Очаровательнее мальчика, чем наш Мур, не видел. Живой, как ртуть, – ласковый, с милым лукавством, в белых кудряшках и с большими синими глазами”.<sup>4</sup> Цветаева, по ее словам, “рассчитала”, что отец – Сергей Яковлевич. Ей, конечно, виднее. Есть известная фотография, где рядом с подростком Георгием стоят оба, Константин Родзевич и Сергей Эфрон. На кого похож мальчик? Он похож на Марину Цветаеву. “Марин Цветаев”, – называл сына Сергей Эфрон. “Молодая, розовощекая, стройная Марина в брюках”<sup>5</sup>, – позже скажет о мальчике Елизавета Тараховская<sup>4</sup>.

Именно внешность Мура более всего поражала окружающих. Он очень быстро рос, просто стремительно. В три года выглядел лет на шесть-семь. В четыре – на восемь. В шесть – на двенадцать. По словам Цветаевой, в четыре с половиной года он весил тридцать три килограмма. Марина Ивановна покупала вещи как на двенадцатилетнего. “Мур стал громадным мальчиком”, – восхищался трехлетним сыном Сергей Яковлевич.

<sup>2</sup> Альтшуллер принимал роды не один. Ему помогала Валентина Чирикова, жена писателя Евгения Чирикова, жившая неподалеку.

<sup>3</sup> Имеется в виду кот Мурр – герой романа Гофмана “*Lebens-Ansichten des Katers Murr*” (“Житейские воззрения кота Мурра”).

<sup>4</sup> Елизавета Тараховская (1891–1968) – писательница и переводчица, сестра Софьи Парнок, интимной подруги Марины Цветаевой.

Меня более всего удивляет пляжная фотография, сделанная летом 1935-го. Муру десять с половиной лет, но кажется, будто он лишь немногим моложе сорокадвухлетней Марины Ивановны. Лет тридцать ему можно дать вполне уверенно. Маленький Мур даже несколько пугал окружающих. В детстве он был к тому же “страшно толстым” и очень серьезным. Вера Трейл писала, будто ни разу не видела, чтобы мальчик улыбался, – и это за все двенадцать лет знакомства с ребенком! Семнадцатилетняя Вера Андреева робела перед трехлетним Муром: “Мне он казался чуть ли не стариком, – он спокойно и уверенно вмешивался в разговор взрослых. Употребляя совершенно кстати и всегда правильно умные иностранные слова «рентабельно», «я констатировал», «декаденты»”, – вспоминала она. “Жирное, надменно-равнодушное лицо” мальчика, его кудри, ниспадавшие “на высокий лоб, прекрасного ясно-голубого цвета глаза спокойно и не по-детски мудро” глядевшие на окружающих, почему-то ассоциировались у Андреевой с одним из римских императоров эпохи упадка. А именно – с Каракаллой<sup>67</sup>. Когда читаешь о детстве Мура и смотришь на его фотографии, невольно вспоминаются герои Франсуа Рабле. Кажется, что на следующей странице Мур, подобно юному Гаргантюа, сорвет колокола с башен *Notre-Dame de Paris*, чтобы использовать их вместо колокольчиков. Среди сверстников он кажется настоящим великаном, существом другого вида.

Цветаева сравнивала Мура с любимым Наполеоном, с римским королем Наполеоном II (сыном Наполеона I Бонапарта) – и с... Бенито Муссолини. Для нас такой ассоциативный ряд будет странным, но в конце двадцатых такое сравнение еще не казалось ни оскорбительным, ни опасным.

Родители видели в нем русского, только русского мальчика: “Мой сын – замечательный сын. <...> Всё время требует, чтобы его везли в Россию. Французов презирает”, – писал Сергей Яковлевич 27 апреля 1929 года. Но Муру – всего четыре года. Как и в чем могло проявиться его “презрение” к французам, что так обрадовало папу? Ведь Мур был с детства билингвом<sup>5</sup>. По словам Цветаевой, его никто не учил французскому. Он сам заговорил по-французски, что и неудивительно: семья переехала в Париж, когда мальчику было девять месяцев. Стихия французского языка, французской жизни окружала его с детства. Как бы ни старалась Цветаева изолировать сына от внешнего мира (она мечтала жить с ним на необитаемом острове), но жизнь взяла свое. Он рос русским французом. Останься он во Франции, был бы ничем не хуже своих сверстников. Но судьбу парижского мальчика предрешит его русский отец.

---

<sup>5</sup> Кроме русского и французского Георгий немного знал немецкий и английский. Но родных языков у него было два.

## Офицер Русской армии

Сергей Эфрон никогда не был всего лишь тенью своей гениальной жены. Напротив, именно его выбор, его вера, его любовь, его иллюзии предопределили судьбу всей семьи. Но его собственная судьба, его жизненный путь был изменен, быть может, даже искажен, искривлен.

Самое важное для человека – следовать своему призванию. Найти службу по способностям и по сердцу. Работу, для которой создан. С тех пор как в 1911 году в Коктебеле семнадцатилетний Сережа Эфрон познакомился с восемнадцатилетней Мариной, он был окружен миром литературным и старался найти себе в нем место. Поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Пробовал писать. У него даже получалось. Его воспоминания об октябрьских боях в Москве 1917-го и сейчас читать интересно. И всё же писателем Сергей Эфрон не стал. Не стал он и филологом или историком. Уже в эмиграции решил закончить университетский курс. Тогда в Карловом университете преподавал знаменитый русский ученый Никодим Кондаков<sup>6</sup> – византист, историк, выдающийся специалист по средневековой иконописи. Кондаков был мировой величиной, в Прагу его пригласил президент Чехословакии Томаш Масарик. Под его руководством Сергей Яковлевич пытался стать специалистом по христианскому средневековому искусству. Докторская (дипломная) работа Сергея Эфрона называется “Иконография Рождества Христова на Востоке”. Пожалуй, трудно было найти специальность менее перспективную для бедного русского эмигранта, к тому же – отца семейства. Медиевистика – сама по себе роскошь, которую может позволить себе далеко не каждый университет.

Ученый-гуманитарий – профессия немассовая. А среди русских эмигрантов шанс заработать на жизнь имели только выдающиеся профессионалы. Помочь могли личное состояние и аристократическое происхождение. Скажем, Петра Савицкого в Пражском немецком университете уважительно называли “фон Завицки”. А Сергей Эфрон не был ни аристократом, ни состоятельным человеком. Ученым-гуманитарием он так и не стал: “Весною я кончил университет, давший мне очень мало. <...> Я не родился человеком науки”, – с горечью признавался Сергей Яковлевич.

В Париже он попробует зарабатывать редактурой. Князь Дмитрий Святополк-Мирский из почтения к Цветаевой возьмет Сергея Яковлевича секретарем редакции журнала “Вёрсты”, но вскоре признает полную его неспособность к редакторской работе: “Эфрон – жопа невероятная”<sup>89</sup>. От нового сотрудника не знали, как избавиться. Еще при подготовке первого номера князь в шутку спрашивал соредатора журнала Петра Сувчинского: “С Эфроном что-нибудь надо сделать. М.б. Арапов <...> мог бы приискать наемного убийцу?”<sup>10</sup> “Вёрсты” закрылись уже после третьего номера. Газета “Евразия”, в которой также работал Сергей Яковлевич, не продержалась и года.

У Эфрона были актерские способности, которые он по мере сил использовал и в двадцатые. Снимался во французском немом кино. Заинтересовался этим новым перспективным искусством. Бродил по Парижу с киноаппаратом. Но Великая депрессия положила конец надеждам. Даже те русские, что в двадцатые годы крепко стояли на ногах, теряли работу. В разгар экономического кризиса рабочих мест не хватало и настоящим французам. Русские со

---

<sup>6</sup> Историка окружала небольшая группа учеников. После смерти ученого (его не стало 17 февраля 1925-го) они создали семинар имени Кондакова – знаменитый в узких кругах европейских медиевистов *Seminarium Kondakovianum*. На его собраниях председательствовал Георгий Вернадский. В 1931-м семинар преобразуют в Археологический институт. Существовал этот институт за счет пожертвований. Средств хронически не хватало. Даже выдающиеся специалисты жили небогато и при возможности уезжали туда, где платили больше. Георгий Вернадский отправится преподавать в Йельский университет. Позже уедет и президент института Николай Толль (сначала в Югославию, а затем в США).

своими нансеновскими паспортами были первыми кандидатами на увольнение: “Здесь пробыть оч<ень> трудно. Французы отчаянные националисты и на всякого иностранца косятся. <...> Самим французам жрать нечего”<sup>11</sup>, – писал Сергей своей сестре Елизавете Яковлевне Эфрон.

Если не все, то многие его неудачи – результат неверного выбора профессии. Между тем у Сергея Эфрона было призвание. “Его чрезмерно узкое лицо / Подобно шпаге”, – напишет Цветаева. Ассоциация очень удачная. Он и в самом деле был рожден не для пера, а для шпаги. Но никому из родных и в голову не пришло отдать Сережу Эфрона в кадетский корпус, а позже – в юнкерское училище. Эфроны – революционеры, не служившие государству. К тому же Сергей болел туберкулезом. Даже во время войны его не брали в армию. Но он пошел на фронт санитаром, а в 1917-м окончил Петергофскую школу прапорщиков. Октябрьская революция застала его в Москве: “Кровь бросилась в голову. <...> Я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели небольшой револьвер Ивер и Джонсон<sup>7</sup> и полетел в полк”, – вспоминал Сергей Яковлевич. В городе было несколько десятков тысяч офицеров, но они в большинстве своем не собирались воевать. Читали газеты, обсуждали новости, осуждали кто большевиков, кто свергнутое Временное правительство. Эфрон был одним из немногих, кто встал на защиту законной власти с оружием в руках.

Когда большевики все-таки победят в Москве, они организуют перепись офицеров. Длинная очередь послушных, покорных людей (профессиональных военных!) выстроится у дверей Алексеевского училища в Лефортове. Поспешат зарегистрироваться. Будут отоваривать карточки, перепродавать селедку, выменивать на базаре добротную офицерскую форму на хлеб. И в страхе ждать ареста, цепenea при слове “чека”. А Сергей Яковлевич уйдет воевать на Дон, где генералы Корнилов, Алексеев, Деникин создавали Добровольческую армию. В феврале 1918-го армия отправилась в свой знаменитый, легендарный даже поход на Кубань – Ледяной поход. Шли по заснеженным степям, шинели покрывались ледяной коркой. Население относилось к добровольцам враждебно. Над их патриотизмом смеялись. Почти во всех боях численный перевес был на стороне противника. В поход выступило всего 4500 добровольцев. Первопоходники станут легендой Белого движения, его элитой. Лучшие из лучших. Храбрейшие из храбрых. Среди них был и Сергей Эфрон. Он служил в знаменитом Марковском полку, названном в честь генерал-лейтенанта Сергея Леонидовича Маркова, героя Ледяного похода. Маркова еще при жизни называли Богом войны, видели в нем едва ли не нового Скобелева или даже Суворова.

Марк Слоним<sup>8</sup> и Дмитрий Сеземан называли Сергея Эфрона человеком слабохарактерным. Не могу понять, чем он такое определение заслужил. Мужественный, железный, негибачаемый – эти слова куда лучше характеризуют Эфрона: добровольца, белогвардейца, первопоходника. Он прошел всю Гражданскую войну: и кровопролитные бои на Кубани, и наступление на Москву, и долгое, тяжелое отступление, и бои за Крым.

Но война была проиграна. А что делать бывшему офицеру в Праге или в Париже? Записаться во французский Иностраннный легион? Но Сергей Эфрон не прошел бы отбор по состоянию здоровья – это в Добровольческой армии было не до медосмотров... Даже по фотографиям видно, как быстро он начал стареть. Наконец, Сергей Яковлевич не хотел служить Франции. Эту страну он так и не полюбил. “Я в ужасе от Франции. Более мерзкой страны я в жизни не видел”, – брезгливо бросил он еще в благополучном 1912-м.

Сергей Яковлевич рассказывал Цветаевой, как однажды у него на глазах расстреляли комиссара-большевика. В лице комиссара была такая решимость, что Эфрон впервые понял:

---

<sup>7</sup> Эфрон имел в виду револьвер Айвера Джонсона – *Iver Johnson*.

<sup>8</sup> Марк Львович Слоним – редактор, литературный критик, литературовед, публицист, друг Марины Цветаевой, неоднократно помогавший ей и Сергею Яковлевичу.

“Наше дело – ненародное дело”<sup>1314</sup>. Во второй половине двадцатых Эфрон всё больше симпатизировал советскому режиму. Он убедил себя, что в России действительно народная власть, что там строят новое, счастливое общество. Эфрон “радовался, читая в газетах об очередном советском достижении”, он сиял “от малейшего советского экономического успеха”<sup>15</sup>. К началу тридцатых годов Эфрон был уже вполне готов для вербовки.

ИЗ ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К АННЕ ТЕСКОВОЙ, 16  
ОКТАБРЯ 1932 ГОДА: *С.Я. совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого  
не видит, а в ней видит только то, что хочет.*<sup>16</sup>

Атмосфера Франции тридцатых, особенно Парижа, благоприятствовала “левому повороту” бывших белогвардейцев. Левые были властителями дум. Андре Жид до своей поездки в Советский Союз был почти коммунистом, Луи Арагон – настоящим коммунистом. Симпатизировали коммунистам Ромен Роллан и Андре Мальро. В стране была сильная и многочисленная компартия, ее возглавлял тогда тридцатилетний энергичный Морис Торез. Еще сильнее и влиятельнее были французские социалисты, которые сохранили старое (с 1905 года), подчеркнуто интернациональное название своей партии – *Section Française de l'Internationale Ouvrière* (Французская секция Рабочего интернационала). В 1935-м коммунисты, социалисты, Всеобщая конфедерация труда и влиятельнейшая в Третьей республике Радикальная партия объединились в Народный фронт, чтобы не пустить к власти правых, не повторить трагической ошибки Коминтерна, немецких коммунистов и социал-демократов. 1 мая Морис Торез вместе с лидером социалистов Леоном Блюмом и радикалом Эдуаром Даладьё шли во главе грандиозной демонстрации – под красными знаменами Коминтерна и трехцветными знаменами Французской республики. Пели “Марсельезу”, пели “Интернационал” – песни революционной Франции и всемирного рабочего движения. На эти демонстрации и на митинги приходили и дочь Сергея Яковлевича Аля, и Мур. Хотя Аля с отцом все-таки гораздо чаще бывала на *rue de Vici*, оживленной улочке неподалеку от Сен-Жермен-де-Пре. На этой улице размещался Союз возвращения на родину. Читали там советские газеты, смотрели фильмы. Пели хором новые советские песни.

*Нас утро встречает прохладой,  
Нас ветром встречает река.  
Кудрявая, что ж ты не рада  
Веселому пенью гудка?  
Не спи, вставай, кудрявая!  
В цехах звеня,  
Страна встает со славою  
На встречу дня.*

За окном – шумная парижская жизнь. Чужая, надоевшая. А на экране – трудовые подвиги героев фильма “Встречный” или Орлова и Утесов со своими веселыми советскими джазменами (“Веселые ребята”). Популярнейший в СССР фильм “Чапаев” просто потряс бедного Сергея Яковлевича. В сцене психической атаки, где каппелевцы в мундирах марковцев идут прямо на пулемет Анки, он узнал самого себя. Теперь ему казалось, что правда на стороне Чапаева, Петьки и Анки-пулеметчицы.

## Шпионов целая семья

Сергей Эфрон был завербован Иностранным отделом ОГПУ<sup>9</sup> еще в 1931-м. Биографов Цветаевой сам этот факт шокировал: новая служба Сергея Яковлевича бросала тень и на Цветаеву. Удивительно, но до сих пор есть люди, всерьез отрицающие работу Эфрона на советские спецслужбы. Между тем о его связи с НКВД упоминали и сын Мур в дневнике, и дочь Ариадна (Аля) в своих письмах в прокуратуру. Наконец, Сергей Яковлевич в последнем слове перед Военной коллегией Верховного суда СССР скажет: “Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно: начиная с 1931 года, вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза”.

Настоящий шпион, особенно занятый вербовкой, должен располагать к себе людей. Привлекать, а не отталкивать, не настораживать, не пугать. У шпиона лицо – открытое, честное, доброе. Именно таким был отец Мура. Софья Львова, младшая дочь Нины Насоновой и Николая Клепинина, оставила очень интересные воспоминания. Она, еще маленькая девочка, Цветаевой побаивалась, “старалась пройти незаметно, чтобы лишний раз не попасться ей на глаза”. А вот когда приезжал Сергей Яковлевич, всё было иначе: “...мы мчались ему навстречу. <...>... Я не помню его в дурном настроении <...>. Он принадлежал к числу не только общительных, добрых, но и очень неэгоистичных людей <...>. Я просто по сегодняшний день вижу его улыбку, его глаза. Для меня он – сама жизнь”.<sup>1718</sup>

Ее старший брат Дмитрий Сеземан тоже с симпатией пишет о “мягком”, “добродушно-смешливом” Сереже Эфроне. Сорокалетний мужчина для окружающих всё еще оставался милым добрым Сережей: “С.Я. был человек обаятельный, веселый, прекрасный рассказчик, незаметно сближался с людьми...”<sup>19</sup> – вспоминал его племянник Константин Эфрон.

Эфрона иногда изображают “эмигрантской шестеркой”, несчастным, запутавшимся человеком, которого использовали едва ли не втемную. Между тем давно опубликована справка, данная Следственным управлением КГБ: “В течение ряда лет Эфрон использовался как групповод и активный наводчик-вербовщик, при его участии органами НКВД был завербован ряд белоэмигрантов, по заданию органов провел большую работу по вербовке и отправке в Испанию добровольцев из числа бывших белых”.<sup>20</sup> Групповод – это руководитель агентурной группы, ее куратор, который подчиняется дипломатической резидентуре или непосредственно Москве. Далекое не “шестерка”.

Разведчик – не одинокий волк. Он, как и всякий нормальный человек, нуждается в семье. А сохранить тайны от самого близкого человека, с которым делишь постель, просто невозможно.

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДМИТРИЯ СЕЗЕМАНА:** *“Марина Ивановна была поэтом, она не была сумасшедшей. Ну что она могла предполагать о деятельности Сережи, который нигде официально не служил, изредка помещал статейки в журналах, сроду не плативших никаких гонораров, но каждый месяц приносил домой несколько тысяч франков жалованья?”*<sup>21</sup>

Эти слова восстановили против Дмитрия Васильевича биографов Цветаевой. Как он посмел заподозрить!

Кадровым разведчикам жен специально подбирают. Жена – боевая подруга, такая же разведчица, как ее муж. Но Цветаеву, судя по ее письму к наркому внутренних дел Лаврентию

<sup>9</sup> В 1934 году внешняя разведка была передана под управление Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР.

Павловичу Берии от 23 декабря 1939 года, к агентурной работе не привлекали. Ее сведения о новой службе мужа были довольно ограничены: "...я знала только о Союзе возвращения и об Испании"<sup>22</sup>, – признавалась она.

Зато верной помощницей Сергея Яковлевича могла стать его дочь Ариадна. Много лет спустя, уже после смерти Сталина, она будет писать в прокуратуру, добиваясь реабилитации Сергея Яковлевича: "...мой отец, Эфрон Сергей Яковлевич, бывший долгие годы работником советской разведки за границей, в частности во Франции".<sup>23</sup> Значит, она, в отличие от Цветаевой, неплохо знала о делах Сергея Эфрона. Более того, Мур запишет в своем дневнике 24 июля 1940 года, что его отец, "в сущности, сотрудник этого ведомства", то есть сотрудник НКВД. А сестра Аля "более или менее с этим ведомством связана"<sup>24</sup>.

Ариадна была удивительным ребенком. Ей будто передалась часть гениальности матери. В шесть, семь, восемь, девять лет она говорила с ней как с подругой, на равных. Но вундеркинды редко становятся гениями. Они или умирают в детстве, или вырастают обыкновенными людьми. Аля со временем превратилась в нормальную девушку, хорошо образованную, начитанную, очень одаренную, но не гениальную: "Когда в конце жизни она писала воспоминания о матери и давалось ей это писание очень тяжело, она говорила: «Открываю детские тетради и сравниваю с ними то, что сейчас пишу, – и просто волосы дыбом. Теперь я так не могу»"<sup>25</sup>, – пишет Елена Коркина, биограф Марины Цветаевой и ее семьи.

Цветаеву такое преобразование дочери раздражало и даже злило: "Аля пустеет и тупеет", – писала она. Ей казалось, будто дочь "упрощается с каждым днем". Мать выдвигала к дочери невероятные требования, ее расстраивало, что Аля в свои одиннадцать неполных лет остается ребенком: "Боюсь только, что и к 20 годам она всё еще будет играть в куклы. (Которых ненавидела, ненавижу и буду ненавидеть.)"<sup>26</sup>.

Французской жизнью Аля не особенно интересовалась. Со временем она всё больше погружалась в дела Союза за возвращение на родину, вращалась среди просоветски настроенных эмигрантов. Смотрела советские фильмы, слушала советские песни и мечтала всей душой приехать в прекрасную советскую страну, которую она покинула ребенком. Ее мечта сбылась в марте 1937-го.

## “Деятельность вашего мужа была ошеломляющей”

В 1956-м Главная военная прокуратура СССР, разобрав дело бывших советских агентов во Франции, вынесет заключение, что “Эфрон-Андреев, Клепинин-Львов, Афанасов и другие, <...> находясь во Франции, проделали большую работу в пользу Советского Союза”<sup>27</sup>. Однако материалы о деятельности советской агентуры в Западной Европе засекречены на долгие времена, если не навечно. Поэтому мы знаем ничтожно мало об их работе. Официально признано, что советские агенты вербовали добровольцев для войны с фашистами в Испании. Но советская агентура занималась, очевидно, и другими делами.

В январе 1930-го, еще до вербовки Эфрона, таинственно исчез председатель Русского общевойскового союза, генерал от инфантерии Кутепов. Обстоятельства его исчезновения и гибели до сих пор неясны. Преемник Кутепова, генерал-лейтенант Миллер, был похищен и вывезен в СССР на пароходе “Мария Ульянова”. В 1938-м в одной из парижских клиник от аппендицита умер Лев Седов – не только сын, но и верный соратник и первый помощник Троцкого. Эта смерть кажется очень странной, хотя доказательств отравления нет.<sup>10</sup>

О причастности Эфрона к этим делам тоже сведений нет, если не считать организации слежки за Седовым еще задолго до его смерти. Зато имя Эфрона связывают с другим громким событием – убийством советского агента Игнатия Рейсса (Натана Порецкого). В июле 1937-го Рейсс, получив предписание приехать в Москву, остался во Франции и даже опубликовал под псевдонимом Людвиг открытое письмо в ЦК ВКП(б). Он призывал к самой решительной борьбе со сталинизмом и провозглашал: “Долой ложь о социализме в одной стране и назад к интернационализму Ленина!” Рейсс покинул Францию, чтобы укрыться в более безопасной, как казалось, Швейцарии.

4 сентября 1937 года на шоссе неподалеку от Лозанны найдут залитый кровью автомобиль с телом мужчины средних лет. У мужчины был паспорт на имя гражданина Чехословакии Ганса Эберхарда. Эберхардом был Игнатий Рейсс. Вскоре швейцарская полиция арестует молодую школьную учительницу Ренату Штейнер, на чье имя был взят в прокате автомобиль. Рената “расколется” очень скоро, признавшись, что год назад в Париже на улице Боси ее завербовал Сергей Эфрон. Следовательно, и она, и Эфрон работают на одну и ту же организацию – на советскую внешнюю разведку, на Иностранный отдел НКВД. С этого времени швейцарская и французская полиция начали расследовать убийство Рейсса. Европейские и даже американские газеты печатали фотографии миловидной Ренаты в шляпке.

Участие Эфрона в деле Рейсса – вопрос давний, дискуссионный и нерешаемый из-за отсутствия доступа к источникам. Биографы Цветаевой вздохнули с облегчением, прочитав у Павла Судоплатова, будто Сергей Эфрон к ликвидации Рейсса непричастен. Между тем 28 июня 1955 года Ариадна Эфрон, добиваясь реабилитации отца, написала письмо помощнику главного военного прокурора, подполковнику юстиции Камышникову. В частности, она упоминала некое “задание, данное Шпигельгласом группе, руководимой” ее отцом.<sup>2829</sup>

Майор госбезопасности Сергей Шпигельглас<sup>11</sup> был заместителем начальника Иностранного отдела и непосредственно курировал так называемые литерные операции – похищения людей и политические убийства. Это его агентом был Павел Судоплатов, убивший в 1938-

<sup>10</sup> Троцкий, узнав о гибели сына, написал: “Откуда же эта зловещая болезнь и молниеносная смерть через 12 дней? <...> Первое и естественное предположение: его отравили. Найти доступ к Льву, к его одежде, к его пище, для агентов Сталина не представляло большого труда. <...>...Отравителям ГПУ доступно всё. Вполне возможно допустить такой яд, который не поддается установлению после смерти даже при самом тщательном анализе”. См.: *Троцкий Л.* Лев Седов: сын, друг, борец. URL: <https://www.marxists.org/russkij/trotsky/works/trotm423.html>.

<sup>11</sup> Фамилия этого человека в разных источниках пишется по-разному: “Шпигельглас”, “Шпигельглаз”, “Шпигельглас”. Последний вариант является наиболее распространенным.

м полковника Евгена Коновальца, лидера организации украинских националистов. Наряду с шумными убийствами Коновальца и Рейсса люди Шпигельгласа проводили виртуозные операции, в результате которых негодные бесследно исчезали. Так исчез бывший советский резидент, ставший перебежчиком, Георгий Агабеков.

О каком же задании писала Ариадна Эфрон? В тексте упомянуто, что задание было провалено, но, очевидно, не по вине Эфрона. Можно ли считать проваленной ликвидацию Рейсса? Убить-то его убили, но при этом часть советской агентуры была раскрыта. Виталий Шенталинский, изучавший в архиве следственные дела Сергея и Ариадны Эфрон, уверенно делает вывод: «Именно ему (Сергею Эфрону. – С.Б.) и было поручено заместителем начальника Иностранного отдела НКВД Сергеем Михайловичем Шпигельгласом руководство группой, готовившей устранение Рейсса».

Так или иначе, Сергей Яковлевич был вынужден спешно покинуть Францию 10 октября 1937-го.

А 22 октября Цветаевой пришлось впервые пойти на допрос в парижскую префектуру.<sup>12</sup> Ее сопровождал Мур. Допрос длился чуть ли не целый день. Следователь криминальной полиции сказал фразу, что надолго запомнится Цветаевой: *“Mais Monsieur Efron menait une activite soviétique foudroyante!”* (“Однако господин Эфрон развил потрясающую советскую деятельность!”<sup>31</sup>) Мур передает слова следователя немного иначе: *“L’activité de votre mari était foudroyante”* (“Деятельность вашего мужа была ошеломляющей”<sup>32</sup>).

31 октября 1937 года в Париже, в католическом храме св. Троицы служили панихиду по князю Сергею Волконскому, давнему близкому другу Цветаевой. Он был греко-католиком, редкость для русского. “Цветаева стояла на тротуаре одна и смотрела на нас полными слез глазами, постаревшая, почти седая. <...> Она стояла как зачумленная, никто к ней не подошел. И я, как все, прошла мимо нее”<sup>33</sup>, – вспоминала Нина Берберова.

---

<sup>12</sup> 27 ноября 1937-го Цветаеву снова будут допрашивать.

## Два разговора

Теперь нам кажется, будто трагические события осени 1937-го предопределили судьбу Цветаевой и ее семьи. Жене одиозного Сергея Эфрона больше не было места среди русских эмигрантов. Между тем не все, замешанные в деле Рейсса, покинули Францию. Вера Трейл, которую в Москве принимал лично нарком Ежов, осталась в Париже. В Париж вернулся с испанской войны ее любовник Константин Родзевич, бывший возлюбленный Марины Цветаевой. Да и сама Цветаева с Муром проживут в Париже еще год и восемь месяцев. Мур будет вспоминать это время как лучшее в своей жизни. Он будет ходить в кино и в кафе, пить перно, читать газеты и книги и... мечтать о переезде в Советский Союз. «Я сильно надеялся наконец отыскать в СССР среду устойчивую, незыбкие идеалы, крепких друзей, жизнь интенсивную и насыщенную содержанием»<sup>34</sup>, – писал Мур. Митя Сеземан, который был знаком с Муром, но еще не стал его другом, уехал из Парижа с матерью в 1937-м. Переезд в Советский Союз казался ему «бесконечным праздником, неоцененным счастьем». Советский Союз – «страна, окутанная ореолом всеобщего равенства, справедливости и воплощавшая всё, что мне казалось тогда ценным»<sup>35</sup>, – вспомнит он сорок лет спустя.

Но Марина Цветаева не спешила увезти сына в страну «всеобщего равенства и справедливости». Еще в 1917-м она демонстративно плюнула на красное знамя. После поражения белых в Гражданской войне она понимала, что старая Россия исчезла навсегда. А в новой ей нет и не будет места. Значит, и вернуться нельзя. Некуда возвращаться.

*С фонарем обшарьте  
Весь подлунный свет!  
Той страны – на карте  
Нет, в пространстве – нет.  
Выпита как с блюда, —  
Доньшико блестит.  
Можно ли вернуться  
В дом, который – скрыт?*

В давнем письме Цветаевой к мужу (от 2 ноября 1917 года) есть строчки: «Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых, я буду ходить за Вами, как собака»<sup>36</sup>. Теперь она приписала на полях: «Вот и пойду, как собака». Но даже эта приписка показательна: ей очень не хочется уезжать из Франции. Не с радостью она поедет, а повинувшись чувству долга. Долга не только перед мужем, но и перед сыном. Цветаева не сомневалась: Мур – русский, горько будет ему жить эмигрантом в чужой стране. Еще в Чехии она писала: «...ты – эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя будет волчий».<sup>37</sup>

*Ни к городу и ни к селу —  
Езжай, мой сын, в свою страну...*

Это она писала в 1932-м, когда Муру исполнилось семь лет. Через год Мур пойдет во французскую школу, где его будут считать русским. Впрочем, это никак не отразится на его социальном статусе. Никто Мура не обидит, не будет унижать как чужака.

Сергей Яковлевич некогда жаловался на французский национализм. Нет оснований ему не верить. Шовинизм – слово французское. Весьма вероятно, что гордому русскому офицеру могли бросить вслед что-то вроде «*sale étranger*» («поганый иностранец»). И все-таки Франция

была страной сравнительно гостеприимной. Когда русский эмигрант Павел Горгулов убьет президента Франции Поля Думера, русские эмигранты в страхе будут ждать репрессий (от французского государства) и погромов (от французского народа). И не дождутся. Волна французской ксенофобии схлынет, едва зародившись.

После Второй мировой Франция станет второй родиной для миллионов эмигрантов разных этносов, рас, цветов кожи. Слова “волчий паспорт” станут анахронизмом.

Цветаева, сомневаясь, не решаясь оставить Францию, думала не только о долге перед мужем и о будущем сына, но и о собственном даре. Она понимала, что в СССР ей не дадут печататься. В лучшем случае позволят переводить. Однако найдется человек, который сумеет ее переубедить. Этим человеком был блистательный франкофил Илья Эренбург. Тот самый Илья Эренбург, что прожил в Париже много лет и создал едва ли не лучшую апологию французской толерантности. “Иностранец не чувствует себя во Франции одиноким”, – писал Эренбург. В своих “Французских тетрадах” Илья Григорьевич приводит множество примеров этой открытости французов и, между прочим, цитирует Карамзина: “... после России нет для меня земли приятнее Франции, где иностранец часто забывает, что он не между своими”.

Немец Гольбах стал одним из самых известных деятелей французского Просвещения. Гейне, Мицкевич, Тургенев подолгу жили в Париже как у себя дома. Французскую поэзию не представить без грека Жана Мореаса (Пападиаментопулоса) и поляка Гийома Аполлинера (Костровицкого), науку – без полячки Марии Склодовской-Кюри, живопись – без испанца Пабло Пикассо, без итальянских (Амедео Модильяни) и белорусских (Марк Шагал, Хаим Сутин) евреев<sup>38</sup>.

Но в разговоре с Мариной Цветаевой Эренбург будет говорить совсем о другом. Сохранилось только одно, зато чрезвычайно интересное свидетельство этого разговора. Даже двух разговоров – в Париже и в Москве. Первый состоялся в 1935 году, во время международного писательского конгресса.

*ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДМИТРИЯ СЕЗЕМАНА: Однажды вечером, во время Конгресса, о котором я говорил вначале, к нам заявила Марина Ивановна Цветаева в состоянии какой-то взбудораженности, крайней нервозности. Не дожидаясь вопросов, она сказала маме: “Нина, я только что от Эренбурга, он мне говорил страшные вещи. <...> Вы знаете, мы с ним два часа сидели в “Rotonde”, и все два часа он мне объяснял, что я здесь чужая, что я как поэт здесь гибну, что в России меня ждут, что там не только моя родина, но и мои читатели, что от меня никто не потребует никаких отречений... Он говорит, что я ведь всегда жаждала революции духа и что русская революция есть, как это он сказал, преддверье этой революции духа... Он мне обещал сказочные тиражи, десятки тысяч экземпляров... Нина, вы понимаете, что это значит? Десятки тысяч будут читать меня...”*

*По серому лицу Марины Ивановны текли слёзы, ее волнение передалось маме, они обнялись. <...> Мать стала успокаивать Марину и объяснять ей, что Эренбургу можно вполне доверять, что он там, в Москве, входит в самые, самые круги.<sup>39</sup>*

О втором, московском, разговоре Дмитрий узнал со слов Георгия Эфрона: “Марина стала Эренбурга горько упрекать: «Вы мне объясняли, что мое место, моя родина, мои читатели – здесь; а вот теперь мой муж и моя дочь в тюрьме, я с сыном без средств, на улице, и никто не то что печатать, а и разговаривать со мной не желает». <...> Эренбург ответил Цветаевой так: «Марина, Марина, есть высшие государственные интересы, которые от нас с вами сокрыты и в сравнении с которыми личная судьба каждого из нас не стоит ничего...» Он бы еще долго

продолжал свою проповедь, но Марина прервала его: «Вы негодяй», – сказала она и ушла, хлопнув дверью»<sup>40</sup>.

## Назад пути нет

*Да не поклонимся словам!  
Русь – прадедам, Россия – нам,  
Вам – просветители пещер —  
Призывное: СССР...*

*Марина Цветаева*

В конце тридцатых годов перелеты из Парижа в Москву были доступны членам правительства вроде Эдуара Эррио и немногим почетным гостям вроде Андре Жида. Время от времени в СССР из Франции прилетали отважные авиаторы-рекордсмены, такие как Мариза Бастье и Сюзанна Тилье. В июле 1937-го эти, говоря современным языком, авиаторки совершили перелет Париж – Кенигсберг – Москва – Иркутск.

Обычные люди могли добраться от Франции до СССР либо поездом, либо пароходом. Железнодорожных и морских маршрутов было несколько. Из Марселя можно было попасть в Одессу. Из Гавра – в Ленинград. На Восточном вокзале Парижа начинался путь в Москву. Кратчайший – через Германию и Польшу. И более долгий – через восточную и южную Францию, северную Италию, Австрию, Чехословакию и опять-таки Польшу.

Хотя “Интурист” в те времена уже существовал, но иностранных туристов было мало. В конце тридцатых в СССР приезжало от 13 000 до 20 000 иностранцев в год – в наши дни Антарктиду посещает вдвое больше туристов. Причем уже в 1939-м туристические программы стали сворачивать. В СССР бежали испанские республиканцы, спасавшиеся от генерала Франко. Приезжали за инструкциями деятели Коминтерна, от Мориса Тореза до Иосипа Броза (Тито). Случалось, что возвращались на родину белоэмигранты, такие как родители Мура и Мити.

На линии Ленинград – Лондон – Гавр – Ленинград до 1937 года ходили пароходы “Кооперация” и “Андрей Жданов”, а в 1937-м “Кооперацию” заменила “Мария Ульянова”. На этом пароходе, очевидно, покинул Францию и Сергей Эфрон. В июне 1939-го “Мария Ульянова” навсегда увезла из Франции Марину Цветаеву и Мура. Судно было грузопассажирским – палубы предназначались пассажирам, а в трюме находился большой рефрижератор, – но считалось довольно комфортабельным: каюты отделаны древесиной (ясенем и орехом) и устланы коврами.

Путь через Ла-Манш, Северное и Балтийское моря завершился 18 июня, когда пароход причалил у пассажирской пристани Ленинграда. Мур не писал о первых впечатлениях от СССР. Немного написала Цветаева: “Таможня была бесконечная. Вытряс<ли> до дна весь багаж, перетрагив<ая> каждую мелочь...”<sup>41</sup> Багаж<sup>13</sup> Цветаевой не только досматривали: “Отбирали не спросясь, без церемоний и пояснений” рисунки Мура. “Хорошо, что так не нравятся – рукописи!”<sup>14</sup> – замечала Цветаева. Она не упоминает, ограничились ли таможенники одними рисунками Мура или взяли себе что-то более существенное из парижского багажа. Никита Кривошеин, приехавший в СССР почти девять лет спустя, 1 мая 1948 года, рассказывал, что в Одессе таможенники так же без всякого стеснения “клали себе в карман то, что им нравилось из багажа пассажиров”.

---

<sup>13</sup> Большая часть багажа (13 мест) была отправлена почтой в Москву на имя Ариадны Эфрон.

<sup>14</sup> Здесь и далее сохранены особенности пунктуации и орфографии Марины Цветаевой и Георгия Эфрона.

Эта “добрая традиция”, по всей видимости, появилась на рубеже двадцатых-тридцатых. По словам Джорджа Сильвестра Вирека, в 1929-м на советской таможне смотрели, не привез ли въезжающий больше двух пар обуви. Лишнюю пару обуви конфисковали или облагали “изрядным налогом”. От Вирека отступились, только узнав, что он американский журналист.<sup>4344</sup>

Вместе с Цветаевой и Муром в Ленинград приехали беженцы из Испании, республиканцы и их дети. Днем испанских детей повезли на экскурсию по Ленинграду, к ним присоединился и Мур. Наивные, но внимательные дети увидели не только колонны Исаакиевского собора, атлантов Эрмитажа, кариатиды Невского проспекта, но и корпуса заводов, “бурые от дыма”: “У нас в Андалузии – заводы – белые, белят 2 раза в год”.<sup>45</sup>

Тогда Марину Ивановну еще удивляло, почему же их не встречают муж и сестра. Сергей Яковлевич вынужден был дожидаться супруга в Болшеве, на даче. Анастасия Ивановна сидела в лагере.

Вечером Цветаева и Мур вместе с испанцами уехали в Москву. Знакомство с новой советской жизнью оказалось все-таки щадящим, слишком коротким, чтобы испугать, шокировать. Бывало ведь и хуже. В 1934 году Лилианна Лунгина и ее мать Мария Даниловна отправились из Парижа в Советский Союз. Ехали через Северную Италию и Австрию. Вагон был полон веселыми, легкомысленными пассажирами, что ехали с лыжами и горнолыжными костюмами на альпийские курорты. Но чем дальше на восток шел поезд, тем тоскливее становилось. Вместо жизнерадостных и обеспеченных туристов вагон заполнили “какие-то понурые люди”. Остановились у знакомых в Варшаве. Те в ужас пришли: “Куда вы едете, разве можно ехать в эту страшную страну? Там же голод!” Увы, это оказалось не враждебной пропагандой. В то время советско-польская граница проходила значительно восточнее Брест-Литовска, у белорусской станции Негорелое. Туда и прибыл поезд вместе с маленькой Лилианной и ее мамой.

*ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛИЛИАННЫ ЛУНГИНОЙ: Мы вошли в зал ожидания, и я увидела страшное зрелище. Весь пол был устлан людьми, которые то ли спали, то ли были больны и бессильны, я плохо понимала, что с ними, плакали дети, ну, в общем, зрелище каких-то полуживых людей. А когда мы вышли на площадь, то и вся площадь была устлана ими. Это были люди, которые пытались уехать от голода, действительно умирающие с голоду люди. Я стояла в синем пальто с какими-то серебряными или золотыми пуговицами и каракулевым воротником, а передо мной – всё черное, лохмотья. И я почувствовала такой ужас и такую свою неуместность... Мне стало очень страшно. Я помню, как заплакала и сказала: “Мама, я не хочу. Давай вернемся назад, я боюсь, я не хочу дальше ехать». И как мама мне ответила: «Все, детка, мы уже по эту сторону границы, мы уже в Советском Союзе. Назад пути нет”.*<sup>46</sup>

Именно через Негорелое всего три года спустя приехал в СССР Дмитрий Сеземан. Голод миновал. В 1935-м отменили карточки. Нищие, обессиленные люди больше не осаждали вокзалы. Однако и в 1937-м станция и советский вагон, куда пересели Дмитрий с матерью и отчимом, выглядели убого. В этом вагоне было “удивительно грязно”. Но пятнадцатилетний Митя, в отличие от тринадцатилетней Лилианны, интересовался политикой. Он смотрел на СССР глазами будущего коммуниста. Митя приехал в страну, которую сам Морис Торез называл подлинной родиной трудящихся: “...я ехал с ощущением восторга и не потому, что я возвращался в страну своих предков, ничего подобного, – потому что я ехал в страну построенного социализма”<sup>47</sup>, – вспоминал много лет спустя Дмитрий Сеземан.

О голоде Митя, вероятно, и не слышал. А если и слышал, то счел буржуазной клеветой на советскую действительность. Повсюду он искал подтверждения своим комсомольским пред-

ставлениям о жизни. Бедность он счел благородной аскезой. Грубость пограничников, что “с огромными волкодавами совершили налет на наш вагон и, не спрашивая нас, жестоко перевернули наш скудный багаж”, он объяснял необходимостью. У революции еще столько врагов! Нужна бдительность. И лозунг “Граница на замке!” Митя счел совершенно правильным. Особенно же ему понравилась дешевенькая пепельница из черного пластика. На ней была надпись: “Завод «Красный треугольник». Второй сорт”: “Ты посмотри! Второй сорт! Разве ты когда-нибудь видела во Франции на каком-нибудь товаре надпись «Второй сорт»? Там обязательно напишут «Первый сорт», или «Высший сорт», или «Экстра», а здесь – пожалуйста – «Второй сорт». <...> Мы наконец в стране, где не лгут, где во всем правда!”<sup>48</sup>

На Белорусском вокзале Митю и его семью встречал дедушка, академик Насонов, на лимузине, который даже парижанину показался роскошным. Поехали к академику на Пятницкую, в Замоскворечье, один из самых очаровательных районов старой Москвы. Митя вспоминал советский павильон на парижской Всемирной выставке: советская сказка, сказка о счастливой и безоблачной жизни в Советском Союзе, стране социальной справедливости, надежде всего прогрессивного человечества, становилась реальностью. И не только для него. Ариадна Эфрон, приехавшая в СССР в том же 1937-м, писала в Париж: “Первое впечатление о Москве – мне вспомнился чудесный фильм «Цирк» и наши о нем разговоры...”<sup>49</sup>

Мы мало что знаем о первых советских впечатлениях Мура. Но даже весной 1940-го, пережив арест сестры и отца, он сохранял совершенно советский взгляд на мир: “По-моему, нужно было бы устроить в нашей школе курсы «истории ВКП(б)» для всех желающих – это была бы замечательная штука”<sup>50</sup>.

Дмитрий Сеземан тоже сначала не был разочарован: “... всё то из советской жизни, что открывалось моим глазам, мне очень нравилось”.<sup>51</sup>

## Русская жара

“Безумная жара, которой не замечаю: ручьи пота и слёз в посудный таз”.<sup>52</sup> Одна из немногих записей Марины Цветаевой, посвященная первым месяцам жизни в Советском Союзе. Эти строки многое говорят не только о душевном состоянии Цветаевой, не только о ее дурных предчувствиях, которые сбудутся очень скоро. Это запись и о московской погоде. Советская Россия встречала такой жарой, что оказалась непривычна даже для Цветаевой. А ведь она помнила климат не только Парижа, но и южной Франции. “Безумно-жарким” называет лето 1939 года Надежда Катаева-Лыткина.<sup>53</sup> “Жара удушающая”<sup>54</sup>, – записывает Елена Сергеевна Булгакова 15 июня 1939 года, незадолго до приезда Цветаевой и Мура в Москву. 18 июня Булгакова возвращалась из Большого театра: “Дикая жара. Впечатление, что весь партер и оркестр – белый, так как все непрерывно машут платками, афишками и веерами”<sup>55</sup>.

Московский климат предвоенных лет более континентален, чем в наши дни. Зимы были много холоднее, а лето – жарче. Лето 1937-го также было жарким, а летом 1938-го были установлены многие температурные рекорды, которые продержатся до знаменитой аномальной жары 2010-го, когда в Москве стояла погода, характерная для Саудовской Аравии. Дневник Елены Сергеевны богат сведениями о погоде, которые позволяют дополнить сухие сводки метеостанций.

*27 июня 1937 года: Жара всё стоит нестерпимая. У нас в квартире духота – квартира вся на солнце.*

*28 июня 1937 года: Стоит дикая жара.*

*2 июля 1937 года: ...Началась сильная гроза, которую мы ждали уж давно, умирали от жары.*

*30 августа 1938 года: В Москве стоит небывалая жара – неестественная, непонятная.*

Мур тоже писал о погоде и жаловался на чересчур теплое московское лето. Правда, его дневник за 1939-й не сохранился, но год спустя, 11 июля 1940 года, он запишет: “Сегодня меня тошнило и была мигрень. Очень жарко, и это неважно действует на организм”<sup>56</sup>.

Летняя жара обычно перемежается ливнями и грозами. Им далеко до тропических, но жителю средних широт и эти летние шквалы запоминаются надолго. Никакой зонтик не спасет от потока воды. А гром и молния заставят вздрогнуть даже взрослого мужчину.

“Бор на противоположном берегу реки, еще час назад освещенный майским солнцем, помутнел, размазался и растворился.

Вода сплошной пеленой валила за окном. В небе то и дело вспыхивали нити, небо лопалось, комнату больного заливало трепетным пугающим светом”<sup>57</sup>.

Какой читатель “Мастера и Маргариты” не помнит этой грозы? Но Ивану Бездомному еще повезло. За пуленепробиваемыми стеклами клиники доктора Стравинского Иван мог лишь смотреть на пугающую тучу “с дымящимися краями”, а потом на “радугу, раскинувшуюся по небу” после дождя.

Автобиографического героя “Московской книги” Юрия Нагибина гроза застала на улице: “Длинная отвесная молния упала на город, далеко, за Остоженкой, – странен был ее отблеск в фольге застывшей реки, – и тут же, без проволочки, грянул такой громище, что виски зало-

мило. И, не дав оправиться от потрясения, другая молния пересчитала подвесы моста, и гром прозвучал в самом металле.

Мы не обогнали грозы. Уже в виду станции метро с голым, обобраным окрестом – исчезли все газировщицы, мороженщицы, цветочницы и папиросницы, – нас затопил огромный ливень. Он возвестил о себе дробью тяжелых, полновесных ударов, будто не дождевые капли окропили крыши, стены, листву деревьев, а ртутные виноградины – пригоршнями из могучей длани. И сразу рухнул поток. Дождь бил в полуоткрытый от усталости рот, словно струя вина из бурдюка. Одежда приклеилась к телу, волосы облепили лоб, виски, щеки, в туфлях смачно, жирно зачавкало. Ни к чему стало торопиться. Мы, как водяные, уже и не мыслили себе иного состояния, кроме такого вот, вдрызг измокшего. И мы пошли неспешным, прогулочным шагом. Нас всё время обгоняли люди, и к метро мы подошли почти в одиночестве”.<sup>58</sup>

Казалось бы, Мура не должны были удивить ни московская жара, ни сильные, внезапные ливни. То и другое для Парижа обычно. Непривычен был резкий переход от прохладной весны с заморозками к летнему пеклу.

“У нас не май, а октябрь”<sup>59</sup>, – пишет Цветаева Але 23 мая 1941-го. Почти в одно слово с ней Мур: “Конец мая, а серо, холодно, дождливо, деревья еле вяло запушились”<sup>60</sup>. Но не пройдет и трех недель, как в Москве уже “стоит жара, сменившая частые ливни”. “Хожу по липкому асфальту”<sup>61</sup>, – напишет Мур своей сестре. Переход к осенним холодам бывал столь же резким. В 1939-м первые заморозки случились 11 августа.

## Первая коммуналка и первые соседи

Летом 1939 года Мур и Митя жили в поселке Новый Быт на железнодорожной станции Болшево, в большом и довольно просторном бревенчатом доме. Его построили еще в 1933 году по заказу управления “Экспортлес” при Наркомвнешторге. На адресах того времени значится: Московская область, станция Болшево, улица Новый Быт, дом 4/33. В 1938-м дачи на некоторое время перешли под управление НКВД. Там чекисты и разместили семьи своих агентов, эвакуированных из Франции. Сергей Яковлевич жил под конспиративной фамилией Андреев, его соседи Клепинины-Сеземаны – под конспиративной фамилией Львовы.

Дом в Болшево известен многим поклонникам Цветаевой. Если вы еще не бывали там, то без труда найдете в интернете фотографии этих добротных одноэтажных домиков. “Экспортлес” пустил на их строительство лучшую древесину, она не сгнила, не пришла в негодность и до наших дней. Дмитрий Сеземан называет дом “прекрасной болшевской дачей”. Для одной семьи жилье и в самом деле прекрасное, особенно по меркам советской России тех лет. К тому же за него не надо было платить. Но это все-таки была коммуналка. У семей “Андреевых” и “Львовых” были свои комнаты, а кухня и гостиная остались общими.

Здесь надо сказать несколько слов о незаурядной семье Клепининых-Сеземанов. Мать Дмитрия и Алексея Сеземанов Антонина (Нина) Николаевна Насонова – дочь профессора, затем академика Николая Викторовича Насонова. Долгое время существовала красивая семейная легенда, по которой мать Дмитрия, беременная им на девятом месяце, бежала из советского Петрограда в Финляндию по льду Финского залива. Но недавно внучки Нины Николаевны Марина Мошанская (Сеземан) и Наталья Сеземан провели собственное исследование. Из документов Центрального архива ФСБ, прежде всего из личного дела их отца Алексея Сеземана, старшего брата Дмитрия, стало ясно, что реальность была несколько иной. Первый муж Нины Николаевны, известный философ, профессор Василий Эмильевич Сеземан еще до революции был гражданином Великого княжества Финляндского. После женитьбы гражданство должна была получить и жена. Когда Финляндия стала независимым государством, Сеземаны автоматически получили гражданство Финляндской республики, и осенью 1921-го Сеземан с женой уехали из голодного Петрограда в Финляндию. Сохранилась фотография, где молодая, красивая и в то время беременная Дмитрием Нина Николаевна стоит рядом с маленьким Алексеем. Подпись – 1922 год. Это январь, а Дмитрий рождается в начале февраля. Перед нами явно не беженка, а цветущая, вполне благополучная женщина. В карантине, куда помещали всех русских беженцев, не делая исключения для генералов и бывших фрейлин, Нина не побывала.

В Финляндии супруги не остались, а уже в 1922-м переехали в Берлин, который был тогда настоящей столицей русской эмиграции. Вскоре они разойдутся. Профессор Сеземан получит приглашение читать лекции (на немецком) в университете Каунаса, куда и переедет. Он решит навсегда связать свою жизнь с Литвой, своей новой родиной. Выучит литовский настолько, что сможет не только читать лекции по-литовски, но и писать статьи, монографии и переводить Аристотеля на литовский язык. Нина уедет в Швейцарию, а затем во Францию, где выйдет замуж за бывшего белого офицера Николая Клепинина. Но Василий Эмильевич<sup>15</sup> не забудет свою первую семью, будет навещать Алексея и Дмитрия.

Нина Николаевна была художницей, еще до революции брала уроки у Петрова-Водкина, а в Париже писала иконы. В православном храме Трех Святителей на *rue Pétel* и сейчас, гово-

---

<sup>15</sup> Я читал и слышал много рассказов о Василии Сеземане. Ни одного дурного слова. Человек молчаливый, скромный и честный, трудолюбивый, эрудированный. Очень способный к языкам. Сеземан, известный философ-неокантианец, преподаватель, переводчик, историк философии, будет украшением университета Каунаса, а в январе 1940-го перейдет в Вильнюсский университет.

рят, есть четыре иконы ее работы. Брат Николая Клепинина Дмитрий окончил в Париже знаменитый Свято-Сергиевский богословский институт, где преподавали выдающиеся русские философы, православные богословы, историки церкви и историки культуры: Сергей Булгаков, Георгий Флоровский, Георгий Федотов, Борис Вышеславцев, Владимир Ильин, Владимир Вейдле, Василий Зеньковский, Антон Карташев. Со временем Дмитрий Клепинин станет священником.<sup>16</sup> Николай в двадцатые годы занимался церковной историей и даже написал работу об Александре Невском. Но религиозность не спасла Николая и Нину от увлечения большевизмом.

Дмитрий Сеземан писал про “авантюристические черты” и “бурный, едва ли не испанский темперамент” своей матери. Три ее брата стали известными учеными. Их жизнь была интересной, насыщенной, творческой. Но женщине в те времена общество предоставляло слишком мало возможностей для самореализации. Предполагалось, что долг ее – быть только женой и матерью. А вот спецслужбы предложили умной и энергичной Нине Николаевне интересную работу, полную риска и приключений.

---

<sup>16</sup> Во время Второй мировой войны станет участником Сопротивления, вместе с матерью Марией (Скобцовой) спасет от ареста и гибели многих евреев. В 1943-м будет арестован гестапо и умрет в концлагере Бухенвальд. Причислен к лику святых.

## Темные месяцы

В исторической науке есть такой термин – “Темные века”. Они были в истории Западной Европы, в истории Византии, в истории древней Эллады. Темными их назвали от того, что мы немного о них знаем: слишком мало следов осталось, особенно письменных. Скажем, основными письменными источниками по древнегреческим Темным векам до сих пор остаются “Илиада” и “Одиссея”.

Термин “Темные века” оказался настолько удачным, что у историков его позаимствовали даже физики-космологи. Их “века” тянутся сотни миллионов лет. Позаимствуем и мы этот термин, хотя темными будут у нас не века, а только месяцы.

Жизнь семьи в Болшево хорошо исследована литературоведами, биографами Цветаевой. Главным источником для них стали мемуары выживших обитателей болшевской дачи и гостей, что приезжали в Болшево. Но мемуаристы писали прежде всего о Цветаевой. Мур и Митя оставались героями второго плана. Поэтому об их жизни известно немного.

Правда, уже летом 1939 года Мур вел свой дневник, но его конфискуют при аресте Ариадны Эфрон. Вряд ли дневник четырнадцатилетнего мальчика представляет такую уж государственную тайну, что его нельзя ни опубликовать, ни хотя бы показать исследователям в архиве. Скорее всего, дневник безвозвратно утрачен. Потерян или уничтожен, как неценный для “органов” документ.

Эфронов было четверо, Клепининых-Сеземанов – семеро: Нина Николаевна с Николаем Андреевичем, трое детей Нины Николаевны – младшая дочь Софья, Дмитрий и старший сын Алексей; с февраля 1939-го в Болшево жила и жена Алексея, девятнадцатилетняя Ирина Горюшевская с маленьким (родился 22 января 1939 года) сыном Николкой.

Правда, Ариадна Эфрон часто оставалась ночевать в Москве. Николай и Нина уезжали на день в Москву. В Москве работал и Алексей.

В Болшево регулярно гостила Эмилия Литауэр, подруга Нины Николаевны и соратница Сергея Яковлевича еще по евразийскому движению. Дмитрий Сеземан пишет, что это была “маленькая, хрупкая женщина, вся сотканная из пролетарского интернационализма и еврейской скорби”<sup>6263</sup>. Такой же постоянной гостьей была загадочная Лидия Бродская, гимназическая подруга Нины Николаевны.<sup>64</sup> Вместе с Алей на дачу часто приезжал преуспевающий московский журналист-международник Самуил Гуревич (Муля).

К населению дачи надо бы прибавить и зверей. Жив был еще белый глухонемой бульдог Билька, привезенный Клепиниными из Парижа. Аля подобрала котят, которые будут жить при болшевской даче, Цветаева называет их просто “кошками”. Был еще рыжий кот, который прыгал в колыбель к Николке.<sup>65</sup>

“В двух наших семьях параллельно как бы существовало два мира. <...>... Мир взрослых, полный страха, тревоги, напряженности и попытки скрыть его. И мир детей, обо всех этих страхах понятия не имевших”<sup>66</sup>, – вспоминала Софья Львова.

Взрослые жили в ожидании несчастья, беды, катастрофы. Умная Нина Николаевна давно всё поняла. Она называла болшевскую дачу “домом предварительного заключения”. Дмитрий вспоминал, что его мать “едва ли не с первого дня возвращения на родину” пребывала в состоянии “подавленного ожидания конца”<sup>67</sup>.

Сергей Яковлевич тоже был подавлен. Мужественный боец, энергичный и толковый разведчик превратился в “растерянного пожилого человека”. Он любил возиться с детьми, играл с ними, благо времени было более чем достаточно. Сергей Яковлевич нигде официально не работал, а деньги от государства получал. Но он болел. Прикроватный столик был уставлен лекар-

ствами. Цветаева писала: “Болезнь С<ережи>. Страх его сердечного страха”.<sup>68</sup> Тут, видимо, не о страхе болезни речь. Дмитрий Сеземан вспоминал, как “из Серезиной комнаты из-за деревянной перегородки вдруг слышались громкие, отчаянные рыдания, и мама бросалась Серезу успокаивать”.<sup>69</sup>

Едва ли не все, кто видел Цветаеву в Болшево, пишут о ее раздражительности, нервности: “...вспыхивала из-за мелочей” и даже “без видимого повода”. “Мой любимый неласковый подросток – кот”, – писала Цветаева о Муре. Но со стороны казалось, что неласкова с ним сама Цветаева: “Однажды после стычки (с матерью. – С.Б.) Мур чуть не убежал под электричку”<sup>70</sup>. Мите Цветаева запомнилась “неприятным человеком в общежитии, труднопереносимым”.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ИРИНЫ ГОРОШЕВСКОЙ: *Марину Ивановну много раздражало. <...> Я несла мимо ее комнаты кастрюльку с кашей для моего ребенка. Ручка у кастрюльки вывернулась, и каша разлилась. Марина Ивановна выскочила и бурчала ужасно, мол, нести нужно более аккуратно.*<sup>71</sup>

Настроение “детей”, к которым причисляли девятнадцатилетнюю Ирину, 22-летнего Алексея и 26-летнюю Ариадну, было совсем другим. По крайней мере внешне. “Мы целый день играли в прятки, старались загнать Митю на крышу. Однажды, несмотря на его слабые легкие, закрыли Митю в погребе, захлопнули крышку и танцевали на ней. <...> Играя в прятки, я залезла в собачью будку. И т. к. я после родов поправилась, то не смогла из нее вылезти. Так и ползала с будкой на спине”<sup>72</sup>, – вспоминала Ирина Горошевская. Муж Ирины, журналист-международник, сотрудник престижного издания “Ревю де Моску”, играл в эти игры вместе с женой, братом и, видимо, со сводной сестрой и с Муром. Неудивительно, что Дмитрию Сеземану жизнь в Болшево казалась приятной.

Не меньше радовалась жизни и Аля. У нее в разгаре был роман с Мулей Гуревичем, красивым, умным, ироничным мужчиной. Он был журналистом-международником, причем высокого полета. В 1937-м он заведовал редакцией журнала “За рубежом”, а еще прежде был заместителем знаменитого Михаила Кольцова в “Жургазе”, объединявшем несколько десятков изданий. Незадолго до ареста Кольцова Гуревич потерял работу и был исключен из партии, но остался на свободе. Со временем он восстановится в партии и вернется на престижную, высокооплачиваемую работу. Полгода спустя Мур напишет о нем так: “...друг интимный Али, моей сестры, исключительный человек. <...> Муля работает с утра... до утра, страшно мало спит, бегаёт по издательствам и редакциям, всех знает, о всём имеет определенное мнение; он исключительно активный человек – «советский делец». Он трезв, имеет много здравого смысла, солидно умен и очень честен; знает английский язык, был в Америке, служил в Военно-морском флоте. Муля исключительно работоспособен; нрав у него веселый, но, когда речь идет о деле, он становится серьезным и сосредоточенным. Он очень ловок и производит впечатление человека абсолютно всезнающего и почти всемогущего”.<sup>73</sup>

Аля не сомневалась, что Муля любит ее, и смотрела на этого блестящего советского дельца как на мужа. Не будущего, а уже настоящего, хотя тот еще не развелся (и не разведется) со своей женой Александрой Левинсон (Шуреттой). Летом 1939-го Аля была столь жизнерадостной, что Марина Ивановна усомнилась в ее искренности: “Энигматическая Аля, ее накладное веселье”.<sup>74</sup>

Как будто чужд этому веселью – подлинному ли, накладному ли – был сам Георгий. Он приехал в СССР к преуспевающему отцу, который “в чести” на своей любимой родине. А вместо этого Мур увидел “шляния и встречи отца с таинственными людьми из НКВД, телефонные звонки отца из Болшево. Слова отца, что сейчас еще ничего не известно”<sup>75</sup>. Отношения с Клепиниными у Мура предстают не такими уж дружескими. На даче “сейчас же начались раздоры между Львовыми и нами, дразги из-за площади”. Отец был “законспирирован”, мать почти не

выезжала из Болшево, но ее отношения с Муром натянутые: “...я – один с Митькой”, – пишет Мур об этом времени.

## Смертники

Когда Мур думал, будто его отец на родине “в чести”, он почти не заблуждался. По словам Лидии Бродской, Сергея Эфрона и чету Клепониных в СССР встретили “с большим почетом”<sup>76</sup>. Первый год своей советской жизни Сергей Яковлевич провел в хороших ведомственных санаториях, а ведомство у него было могущественным и богатым. В Одессе Эфрон принимал морские и хвойные ванны, в Кисловодске – ванны минеральные, пил целебный нарзан. Он мог не заботиться ни о куске хлеба, ни о крыше над головой.

По словам Дмитрия Сеземана, из всех обитателей болшевской дачи работала одна Аля. Работал еще Алексей, но он чаще жил в Москве, в Болшево только приезжал.

Остальные не работали. При этом обитатели болшевской дачи ни в чем не нуждались. За жилье не платили. Продукты привозили из Москвы. Цветаева писала о торгах и ананасах. В материальном отношении это были, очевидно, лучшие месяцы в СССР. Относительное благополучие Эфронов и Клепониных вполне понятно. Советские разведчики жили в условиях привилегированных, но и цена этого благополучия была высокой.

Разведчик, секретный агент, сотрудник спецслужб всегда были профессиями опасными. А в 1939 году это были просто смертники. Эпоха Большого террора заканчивалась грандиозной чисткой в НКВД. В 1937–1938-м две трети высшего руководства НКВД были старыми чекистами, что работали еще при Дзержинском и Менжинском. Они сделали свое дело и теперь уходили в небытие. Из 37 комиссаров госбезопасности первого, второго и третьего ранга до 1941 года дожили двое. Оба генеральных комиссара государственной безопасности, то есть оба чекистских маршала, Ягода и Ежов, были расстреляны.

Вместе с начальником нередко ликвидировали и его заместителей, подчиненных. Назначенному 25 ноября 1938 года на пост наркома внутренних дел Лаврентию Павловичу Берии не нужны были соратники Ежова и Ягоды.

“Чистили”, то есть увольняли, арестовывали, уничтожали людей чуждого социального происхождения. Истребляли чекистов с сомнительным политическим прошлым. До 31 % руководителей НКВД составляли бывшие эсеры, боротьбисты<sup>17\*</sup>, анархисты (включая махновцев) и даже белогвардейцы. И вот настал последний час для таких людей, как бывший махновец Лев Задов, как бывшие белогвардейцы Клепинин и Эфрон.

Непосредственные начальники Эфрона и Клепониных, Слуцкий и Шпигельглас, погибли раньше своих подчиненных. Абрам Ааронович Слуцкий, соратник легендарного чекиста Артура Артузова (разработчика операции “Трест”), казался непотопляемым. Даже после ареста и расстрела Артузова Слуцкий сохранил пост начальника Иностранного отдела ГУГБ НКВД. Ему приписывается множество удачных операций. Промышленный шпионаж, позволивший развернуть в СССР производство шарикоподшипников. Вербовка агентуры в британском МИДе, военной разведке и контрразведке (“Кембриджская пятерка”). Похищение генерала Миллера и еще много разных подвигов.

Но 17 февраля 1938 года Слуцкого вызвали в кабинет к Михаилу Петровичу Фриновскому, первому заместителю Ежова. Там ему набросили на лицо маску с хлороформом, как в свое время генералу Миллеру. Но, в отличие от Миллера, Слуцкого убили сразу: сделали смертельную инъекцию. По официальной версии, Абрам Ааронович скоропостижно скончался от сердечного приступа. Его заместитель Сергей Шпигельглас был арестован осенью 1938 года и расстрелян в январе 1941-го.

---

<sup>17</sup> Боротьбисты – в 1918-м и начале 1919-го украинские левые эсеры, а с августа 1919-го – члены Украинской коммунистической партии. Прозвище “боротьбисты” они получили по названию своей газеты “Боротьба” (“Борьба”). В 1920-м партия волилась в состав Коммунистической партии (большевиков) Украины.

Эфрон и Клепинины были обречены и как бывшие белогвардейцы, и как лица непролетарского происхождения, проникшие в органы госбезопасности, и как люди Слуцкого и Шпигельгласа.

По словам Софьи Львово́й (Клепининой), в Болшево все взрослые “были (я теперь это точно знаю) готовы разделить судьбу” тех, кого она называет “ни в чем не повинными людьми” или повинными “в чрезмерной любви к Родине”. Ареста “ждали каждую ночь, хотя днем старались делать вид, что всё в жизни идет, как надо”.

Фраза о “ни в чем не повинных” все-таки требует пояснения. В те годы погибли сотни тысяч ни в чем не повинных людей. Но можно ли считать “ни в чем не повинными” чекистов, пусть даже из Иностранного отдела? Вопрос трудный. “На протяжении всех лет своей разведывательной работы отец пользовался доверием и уважением своего руководства, как за границей, так и в СССР. Но с приходом Берии в органы НКВД отношение к отцу и к приехавшим с ним товарищам резко изменилось”<sup>7778</sup>. Слова Ариадны Эфрон правдивы и точны, вот только вдумаясь в них: “доверие и уважение своего руководства”. Руководство – это ведь Ягода и Ежов, Слуцкий и Шпигельглас.

## Перемена участи

У Сергея Эфрона была надежда, что его и Клепониных перебросят на работу в Китай, хотя непонятно, чем бы эти русские европейцы, пусть и называвшие себя недавно “евразийцами”, могли помочь в делах японских, китайских, монгольских. В Азии уже шла настоящая война. В разгаре бои на Халхин-Голе. Но в этой войне Эфрону участвовать не придется. В ночь на 27 августа арестовали Алю.

Несколько раньше арестовали Павла Николаевича Толстого, еще одного “парижского мальчика” и бывшего евразийца, что вернулся в СССР еще в 1933-м. Мур был хорошо знаком с ним еще в Париже и считал “Павлика” человеком “аморальным, блестящим, беспринципным”. Павлик дал показания на Ариадну Эфрон. Алю и арестованную с ней Эмилию Литауэр принуждали дать показания на Сергея Яковлевича. Какие методы допроса применяли к Эмилии Литауэр, мы можем только предполагать – от нее не останется тюремных воспоминаний. В июле 1941-го ее расстреляют как “шпионку” и “контрреволюционерку”. Аля выживет и расскажет потом, как ее пытали бессонницей, избивали резиновыми дубинками (их называли “дамскими вопросниками”), запирали раздетой в холодном боксе и даже имитировали расстрел.<sup>79</sup> Силы человеческие не безграничны. Ариадна Сергеевна “призналась”, что “с декабря месяца 1936 г.” стала “агентом французской разведки, от которой имела задание вести в СССР шпионскую работу...”<sup>80</sup> Но Аля следователей не очень интересовала. Важнее было получить показания на ее отца. И ее заставили подписать и это чудовищное признание: “Не желая скрывать чего-либо от следствия, должна сообщить о том, что мой отец Эфрон Сергей Яковлевич, так же как и я, является агентом французской разведки...”<sup>81</sup>

Мы можем только предполагать, о чем думал Мур после ареста Али – все полтора месяца, пока рядом с ним еще был отец.

В 1939 году вышла повесть Аркадия Гайдара “Судьба барабанщика”. Ее ни Мур, ни Цветаева, конечно, не читали, они не интересовались новинками “Детгиза”. А между тем в этой повести (единственной на всю подцензурную советскую литературу) были переданы те настроения, те чувства, что могли быть близки Муру. Только события “Судьбы барабанщика” начинаются весной, а трагедия семьи Эфронов развернулась осенью.

“...Тревога – неясная, непонятная – прочно поселилась с той поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придет весна, и мы все втроем поедem на Кавказ – на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд”.<sup>82</sup>

10 октября Сергея Яковлевича арестовали. А еще через месяц, в ночь с 6 на 7 ноября, будут арестованы Николай Андреевич Клепинин (в Болшево), Нина Николаевна и Алексей Сеземан (в Москве).

Митя не сразу узнал о событиях, что навсегда изменили его судьбу.

**ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДМИТРИЯ СЕЗЕМАНА:** *Настоящее мое погружение в советскую жизнь началось в тот ноябрьский день тридцать девятого года, когда ко мне, в Московский Туберкулезный Институт, пришел мой дядюшка Арсений Николаевич и сообщил, что <...> арестованы моя мать, отчим, брат Алексей, Сережа Эфрон, Аля. До этого, в течение целых двух лет <...> я жил как бы под стеклянным колпаком...*<sup>83</sup>

Правда, между арестом Али и арестом Клепининых прошло больше двух месяцев. Дмитрия в больнице, конечно же, навещали. Как раз за несколько дней до ареста приходила Нина Николаевна. “Ее сопровождал высокий, красивый, голубоглазый викинг, ее старинный петербургский друг, Александр Васильевич Болдырев<sup>18</sup>, филолог-античник, профессор университета”. Она сказала загадочную фразу, смысл которой Дмитрий понял не сразу: “Вот, если что-нибудь паче чаяния со мной произойдет, Александр Васильевич всегда будет тут. <...>... Не знал я, что тот викинг несет прямую ответственность за появление мое на свет Божий. Я ведь вырос в семье, где культивировалась душевная деликатность, и потому до двадцати лет дожил, ничего не зная об этих генетических перипетиях”<sup>8485</sup>

После ареста Алексея Сеземана его жена Ирина, оставив ребенка на попечение подруги, поехала в Болшево. Там она надеялась застать Клепининых. Был очень холодный, промозглый ноябрьский день. На даче было пусто. Тишину нарушал только звук металлических гимнастических колец, которые Сергей Яковлевич повесил между двумя соснами еще летом, – делал гимнастику и пытался приучить неспортивного Мура к физкультуре. Теперь стук этих колец испугал Ирину. Она подошла ко входу с той стороны, где жили Клепинины, – ей никто не открывал. Ирина постучалась к Эфронам: “И вдруг открылась дверь и вышла Марина Ивановна Цветаева. Она была то ли в накинутом на плечи пальто, то ли в чем-то еще, и у нее были очень растрепанные волосы из-за ветра. На меня она произвела впечатление пушкинского Мельника”.

– Вы знаете, что сегодня ночью арестовали Алешу? – спросила Ирина.

Цветаева перекрестила ее: “Ирина, Бог с тобой. Здесь сегодня ночью арестовали Николая Андреевича. <...> Иди и не входи сюда”<sup>86</sup>

Жить в этом проклятом месте Цветаева не могла. 10 ноября 1939 года она заперла дачу на ключ и вместе с Муром уехала в Москву, к сестре Сергея Яковлевича Елизавете Эфрон (Лиле), в ее маленькую квартиру в Мерзляковском переулке.

Очевидно, с этим бегством из Болшево была связана и гибель кошек, о которых Цветаева несколько раз упоминает в своих письмах. Отчего погибли кошки, неясно. Возможно, от холода и голода. Их стало некому кормить. Сама Цветаева пишет, что кошки погибли последними.

Пройдет девять месяцев, а Цветаева будет вспоминать о болшевской даче всё с тем же ужасом, какой увидела на ее лице Ирина.

ИЗ ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К ЕЛИЗАВЕТЕ ЭФРОН,  
АВГУСТ 1940 ГОДА: ...загород, вообще, гроб. Я боюсь (здесь и ниже курсив  
Цветаевой. – С.Б.) загорода, его стеклянных террас, черных ночей, слепых  
домов, это – смерть...<sup>87</sup>

<sup>18</sup> А.В.Болдырев (1896–1941) – сын генерала Российской императорской армии, исследователь творчества Исидора Севильского и Демосфена, переводчик Платона и Плутарха. Погибнет во время блокады Ленинграда в декабре 1941-го.

## Русская зима

В декабре 1939-го Цветаева и Мур, благодаря хлопотам Бориса Пастернака, получили новое жилье. Правда, временное и не бесплатное. И даже не в Москве, а в подмосковном поселке Голицыно, где располагался небольшой Дом творчества для писателей. В Дом творчества приходили обедать, а жили в избушке, снимали там комнату за 250 рублей в месяц. Станция Голицыно расположена очень далеко от Болшево. Это совсем другая железнодорожная линия. Она ведет от Белорусского вокзала на запад, в сторону Смоленска. Здесь, среди подмосковных сосен, Мур встретит свою первую русскую зиму.

Даже в наши дни московская зима заметно отличается от парижской. А во второй половине 1930-х зимы стояли столь морозные, что их с трудом переносили даже москвичи. “Дикий мороз – тридцать два по Цельсию”<sup>88</sup>, – записывает Елена Сергеевна Булгакова 4 января 1935 года. В декабре 1938-го улицы казались вымершими, “адовая холодина”<sup>89</sup>, – комментирует Елена Сергеевна. Зимы 1939–1940-го и 1940–1941-го оказались еще холоднее. Декабрь 1939-го был довольно теплым, зато в январе и феврале ночные морозы достигали –40. Погибали, не выдержав мороза, теплолюбивые вязы, ясени и яблони: “... зима была лютая”, – писала Марина Цветаева Але.

17 января 1940-го был самый холодный день в Москве за весь XX век: –42,2. 16 и 18 января – не побитые до сих пор рекорды: –41. Прибавьте к этому сильный холодный ветер и обильные снегопады, которые часто случались той зимой. Московские трамваи оставались в депо: их лобовые стекла покрыл густой слой льда. С путей не успевали убрать снег. Февральские снегопады и двух-трехдневные метели парализовали трамвайное движение.

ИЗ ПИСЬМА МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ К ЛЮДМИЛЕ ВЕПРИЦКОЙ, 9  
ЯНВАРЯ 1940 ГОДА: ... в столовой, по утрам, 4 гр<адуса>, за окном – 40. Все  
с жадностью хватаются за чай и с нежностью обнимают подстаканники.<sup>90</sup>

“Те зимы были еще очень холодные и снежные”<sup>91</sup>, – вспоминала Лилианна Лунгина, тоже недавняя парижанка. Но она жила в столице, в новом и сравнительно благоустроенном доме, приехала еще в 1934-м и уже привыкла к русскому климату. Она каталась на коньках в парке Горького, ходила на лыжах. Ей даже нравился особый звук, от которого по утрам просыпались москвичи: “... дворники кололи лед. Это, может быть, главный звук моего московского детства. <...> Это был звук еще патриархальной Москвы”. Лед не складывали в огромные снежно-ледяные сугробы, как это делают и теперь во многих российских городах, и не вывозили за город в кузовах грузовых машин. Сколотый лед на санках увозили во дворы, где стояли специальные котлы – топить лед. И без всякой техники улицы “были чистые, убранные”<sup>92</sup>.

Но в подмосковном Голицыно зима переносилась иначе: “Жизнь была очень тяжелая и мрачная, с керосиновыми негорящими лампами, тасканьем воды с колодца и пробиваньем в нем льда, бесконечными черными ночами, вечными болезнями сына и вечными ночными страхами. Я всю зиму не спала, каждые полчаса думая (надеясь!), что уже утро. <...> Эта зима осталась у меня в памяти как полярная ночь”<sup>93</sup>, – писала Марина Цветаева крупному литературному функционеру и влиятельному прозаику-орденоносцу Петру Павленко.

А ведь Цветаева родилась в Москве. Каково же было парижанину Муру? Парижская зима “не что иное, как мокрая осень”<sup>94</sup>, – писал Николай Васильевич Гоголь за сто лет до Мура. “В Париже так называемая зима. Французы относятся к ней очень серьезно: зажигают жаровни и обогревают даже улицы...”<sup>95</sup> – век спустя после Гоголя писал насмешливый Илья Ильф.

Гайто Газданов прожил в Париже намного дольше и знал город лучше русских путешественников. К тому же он описывал именно тот Париж тридцатых годов XX века, который хорошо знал Мур. Серые, теплые дождливые дни, холодный ветер, “ледяные дожди со снегом”. Зимние ночи “с особенным парижским холодным туманом, в котором призрачно возникали мутные световые пятна фонарей”.<sup>96</sup> Об этих парижских туманах, иногда почему-то зеленых, иногда желтых и даже розовых, рассказывал Ильф своей жене.<sup>97</sup>

“Зимы, собственно, в Париже нет; идет дождь, шумит, стучит, шепчет за окном и по крышам – и день, и два, и три. В январе вдруг наступает день – к концу месяца, когда всё сияет, и льется тепло, и небо синее, и на террасах кафе люди сидят без пальто, и женщины, легко одетые, преображают город. <...> Этот день бывает каждый год, он похож на передвижной праздник, который бывает между 20 января и 5 февраля”<sup>98</sup>, – писала Нина Берберова.

Георгий, конечно, слышал раньше о русских морозах, но испытал их на себе впервые в жизни. Первую собственную шубу ему сошьют только к следующей зиме 1940–1941-го. А прежде он носил отцовское теплое пальто. Сергей Яковлевич приехал в СССР двумя годами раньше и, конечно, уже обзавелся зимней одеждой. Но и пальто не спасало. По словам Цветаевой, в школе, где учился Мур, были выбиты оконные стёкла. Теплового ватерклозета не имелось. Детям приходилось в мороз бегать на улицу, в дощатый туалет. При этом пальто оставалось в гардеробе, до конца уроков школьникам его не выдавали<sup>99</sup>.

Неудивительно, что всю зиму и весну 1940-го Георгий болел, болел почти непрерывно. На иммунитет его повлияли и трагические события 1939 года – арест сестры, арест отца. Непонятные, необъяснимые и оттого еще более страшные. Но и сама по себе смена климата не могла не отразиться на здоровье. Болезни Мура начинаются зимой, которая была непривычной для парижанина.

## Большая болезнь

### 1

“Сегодня седьмой день как я лежу. Грипп оказался воспалением легкого, и теперь, наверное, придется лежать долго”. Это первая фраза нового дневника, который Мур начал 4 марта 1940 года. Так завершились его “темные месяцы”. С этого времени и до ноября 1941-го мы знаем почти всё.

В жизни маршала Вобана, гения военной фортификации времен Людовика XIV, был период, который его биографы называют “большая болезнь”. Из-за этой болезни – видимо, хронического бронхита, – более года маршал вынужден был провести в своем замке Базош.

В короткой жизни Мура время “большой болезни” – это зима – весна 1940-го. Вместо бургундского замка – комнатка в Голицыно, в деревенском доме.

Никогда прежде Мур не болел так часто, как зимой – весной 1940-го. “Болел много, обильно, упорно и с разнообразием. Болел я и тяжелой простудой, и насморком, и гриппом, осложнившимся ангиной, и ангиной, осложнившейся гриппом, и краснухой, осложнившейся форменным воспалением легких...”<sup>100</sup> – писал он сестре спустя год. Это он еще забыл написать про свой эпидемический паротит, то есть свинку. “Непонятно: во Франции не болел никогда, а здесь совсем разваливаюсь”<sup>101</sup>, – недоумевал Мур.

От природы Мур не был особенно крепок здоровьем. Советские врачи найдут, что его сердце “примерно раза в два меньше, чем следует”<sup>102</sup> для такого крупного молодого человека. Но болезни зимы – весны 1940-го – не сердечно-сосудистые. В основном это вирусные инфекции. Зимой начались, по словам Цветаевой, “бесконечные гриппы”. Вероятнее, речь не только о гриппе, но и об ОРВИ.

Тогда в СССР при Медицинском совете Наркомздрава существовал даже специальный комитет по борьбе с гриппом. В газетах печатались советы, как уберечь от этой болезни себя и окружающих: прикрывать рот и нос платком, не плевать на пол, избегать рукопожатий и поцелуев, мыть руки, укреплять свой организм спортом и гимнастикой. Последнее неспортивному мальчику было явно в тягость.

В феврале Георгий заболел краснухой, острозаразной, но обычно не опасной для молодого человека болезнью. Однако у Мура она перешла в воспаление легких. Эта болезнь изменит внешность Мура. По словам Цветаевой, он “стал худым, как стебель”, “хрупким”, прозрачным. Юный Гаргантюа превратился в стройного, худощавого молодого человека. Красивого, но слабосильного. Едва поправившись, он снова заболевает: “Я простудился – кашляю, чихаю, насморк и лежу (слег сегодня) с повышенной температурой – 37,5”, – записывает он 27 марта. На этот раз болезнь не продлилась долго. Но еще больному Муру сделали прививку от брюшного тифа, после чего он опять заболел. Прививки – чудо первой половины XX века – спасали миллионы людей. Но действие живых вакцин на организм было еще плохо изучено, и прививку могли сделать даже больному со слегка повышенной температурой.

“Она долго и терпеливо болела”, – читаем в рассказе Андрея Платонова “На заре туманной юности”, написанном в 1938-м. Болели и в самом деле долго. Эпоха бюллетеней на три дня еще не наступила. Болезнь старались не переносить на ногах, не глушили насморк и боль в горле быстродействующими средствами, да их и не было, как не было антибиотиков и противовирусных лекарств.

Правда, в 1939-м Нобелевский комитет присудил премию по медицине Герхарду Домагку за открытие антимикробных свойств протозила (красного стрептоцида). В том же году совет-

ский фармацевтический завод “Акрихин” начал выпуск стрептоцида. Но это лекарство было токсичным и нередко приводило пациента в гроб раньше, чем болезнь. В 1940-м Эрнст Борис Чейн выделил кристаллический пенициллин. Однако до начала эпохи антибиотиков оставалось два года. Врачи лечили по-старому: не уничтожали вирусы и бактерии в организме больного, а помогали самому организму бороться с инфекцией. Лечение в те времена – общеукрепляющее и симптоматическое.

Доктор первым делом назначал больному постельный режим. Прописывал порошки, капли, мази, микстуры. Готовых лекарств было совсем немного. Их надо было изготовить в аптеке, чем занимались опытные фармацевты под контролем провизоров. Растирали необходимые ингредиенты пестиками в специальных ступках, делали порошки. Или разводили их дистиллированной водой, получались микстуры. К бутылочкам с микстурами и коробочкам с порошками прикрепляли специальные бумажки с сигнатурой – копией рецепта. Слянки с этими сигнатурами десятилетиями будут привычным, неизменным атрибутом повседневной жизни. Столик рядом с постелью больного, уставленный такими слянками, – характерная деталь быта. Пузырьки и слянки не выбрасывали, а сдавали в аптеку. В аптеках даже висели плакаты: “Сдавайте ненужную тару! Оплата по тарифу”.

Год спустя, уже в Москве, Мур будет ходить в Центральную аптеку на улице 25 Октября. Это название официальное – парижанин Мур предпочитал названия советские. Коренные же москвичи, в том числе и Цветаева, называли эту аптеку по старинке – аптека Феррейна на Никольской. Это одна из достопримечательностей старой Москвы, не уровня Кремля, конечно, но уровня ресторана “Яр”, универсального магазина Мюра и Мерилиза, булочной Филиппова. Легенда, которую не забыли и в наши дни. Даже сейчас, на сияющей огнями Никольской, это здание привлекает внимание. А в 1940-м еще сохранились мраморные лестницы, бронзовые статуи, зеркала в позолоченных рамах, дубовые резные шкафы (мебель заказывали во Франции), чучела медведей у входа в главный зал и подвешенные под потолком рога носорога. Старые москвичи могли припомнить времена, когда в аптеке бил фонтан из французских духов. При аптеке жил настоящий бурый медведь, которого каждый день водили гулять на Лубянскую площадь. В сталинской Москве эту экзотику заменила статуя Ленина. Ее поставили между первым и вторым этажами. У подножия статуи всегда лежали свежие цветы.<sup>103</sup>

На аптеку работали три лаборатории. В эпоху расцвета там изготавливали 300 видов лекарств. Впрочем, в 1940–1941-м всё изменилось. Муру приходилось несколько дней ждать, пока “Центральная Аптека получит талк, чтобы приготовить рецепт врача”<sup>104</sup>. Это уже благополучная для Мура пора, когда ему досаждали только перхоть, прыщи на голове и экзема на ноге. Поэтому в мае-июне 1941-го он будет покупать в аптеках мазь и специальное мыло. Весной же 1940-го здоровье Мура было много хуже. Продолжалось время его “большой болезни”.

## 2

Целые дни Мур должен был проводить в постели. Медленно тянулись бесконечные часы, долгие весенние дни. Мур много читал, рисовал карикатуры. Иногда его навещали Муля Гуревич, время от времени приезжавший из Москвы, и гибкая, черноволосяя и черноглазая красавица Мирэль Шагинян, дочь писательницы Мариэтты Шагинян.

Георгий не описывает подробно свое лечение, но упоминает капли и банки. “Сейчас придет бабка ставить банки”, – записывает Мур 6 марта. Знаменитые медицинские банки десятилетиями не выходили из употребления. Это в наши дни доказательная медицина не нашла никаких оснований считать, что от банок есть хоть какая-то польза. А тогда при заболеваниях грудной клетки, включая бронхит и воспаление легких, их считали незаменимым средством.

Чем-то вроде физиотерапии. Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой в роскошном подмосковном санатории “Барвиха” ставили те же банки, что и Муру в скромном Голицыно.

В СССР существовало три вида медицины: государственная, ведомственная и частная. Последнюю потихоньку изживали, но всё же терпели это “наследие царского режима”. Старые искусные доктора, что давно завели частную практику, не исчезли даже с отменой НЭПа.

Если семья была обеспеченной, больного ребенка вели к частному доктору. Частный доктор не хамил больному, не спешил выпроводить его из кабинета, не выражал своего презрения к наивности больного, его невежеству или страху. На квартирной двери нередко висела начищенная медная табличка: “Доктор такой-то...”

*ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛЮДМИЛЫ ЧЕРНОЙ: Как не вспомнить покойного Селестина Моисеевича Тумаркина, спасителя сына! Вот с кем сказочно повезло! Когда он, седой высокий человек, неторопливо <...> входил в комнату и, чуть прищуриваясь, оглядывал ребенка своими добрыми глазами, а потом прикладывал стетоскоп к его худой спинке, – сразу становилось легче на душе. И вроде бы хворь отступала.<sup>105</sup>*

Не брезговал частной практикой даже академик Виноградов, личный врач Сталина. Простых смертных он принимал у себя дома за деньги, как булгаковский профессор Преображенский.

Но на частного доктора нужны средства. Весной 1940-го у Цветаевой денег еще не было. Мура лечили врачи ведомственные – от Литфонда – и государственные. Прививку в школе ставили государственные. К стоматологу он ходил литфондовскому (“пойду лечить зубы к голицынской врачихе”).

От пневмонии Георгия лечил также ведомственный врач: “Приезжал доктор из Литфонда, говорил: «Ну-с, милейший...» и начинал выстукивать”<sup>106</sup>, – писал Мур сестре Але. Судя по манере общения, это был врач с дореволюционным стажем или же усвоивший традиции старых докторов царского времени. Мура такое обращение, очевидно, сместило. А Людмилу Черную, в то время пламенную комсомолку, возмущало:

“...грубый материал гимнастерки-юнгштурмовки натирает шею, ранки гноятся. Частный врач-кожник в Армянском переулке, к которому повела меня мама, с большим неодобрением косится на мою юнгштурмовку:

– Кожа нежная... Надо, барышня, носить маркизетовые блузки, а не... – и пренебрежительно машет рукой.

– Никогда в жизни! – отчеканиваю я, смертельно обиженная обращением «барышня»”<sup>107</sup>

Эти врачи – осколки старого времени, когда доктор был человеком обеспеченным, а нередко и просто богатым. Но времена изменились. Врачей стало больше, а платили им всё меньше. Государственная медицина превращала солидного доктора в скромного советского медработника. По данным Центрального статистического управления СССР, средняя зарплата в здравоохранении в 1940 году составляла жалкие 255 рублей – на 85–100 рублей меньше, чем у рабочих в промышленности и строительстве. Зарплата врача-консультанта в 550 рублей считалась большой. Низкие зарплаты в московском горздраве заставляли людей как-то изворачиваться, искать подработки. Обычным делом стало совместительство. Но совместительство власти старались извести: как бы советский человек лишнего рубля не заработал. Врачи с ученой степенью и частной практикой остались горсткой прилично зарабатывающих в море бедняков с престижными еще медицинскими дипломами.

11 апреля 1940-го Георгий с Цветаевой собрались в Москву, к тете Лиле, но тетя заболела то ли свинкой, то ли ангиной. Неделю спустя они все-таки поехали к Лиле, хотя карантин по свинке – двадцать четыре дня. Видимо, там Мур и заразился свинкой. Уже 13 мая он пошел в московскую амбулаторию, где ему поставили этот диагноз.

От свинки и сейчас нет специфического лечения, но в школу больного, конечно, не пускают и рекомендуют постельный режим. Его Мур, впрочем, нарушал. “Дни протекают спокойно и скучновато: утром – бинтование моей свинки, пускание капель в глаза (в общем – лечение). Потом – завтрак, потом я рисую или читаю, <...> потом вытираю посуду, потом на часок иду с мамой гулять, потом пишу дневник и читаю, потом обед, перебинтование и – ложимся спать”<sup>108</sup>, – записал он 20 мая 1940 года.

## “Мой голицынский друг”

### 1

Писательский Дом творчества в Голицыно открылся еще в 1932 году. Литфонд тогда прибрал к рукам бывшую дачу известного театрального антрепренера Федора Корша, что умер в начале двадцатых. Это был каменный двухэтажный дом, вполне комфортабельный и даже роскошный для одной семьи, но тесный для дюжины постояльцев: “Там крошечные комнатки и нет никаких общих помещений, где можно сидеть. Керосиновые лампы, холодная уборная, отвратительный и скудный беспорядочный стол”<sup>109</sup>, – жаловался Осип Мандельштам брату в апреле 1933-го.

Но в тот страшный год бедствовали не в одном Голицыно. Мариэтта Шагинян утверждала, будто даже в Ленинграде “начался сыпняк, голодный тиф”, как в 1920-м. “Я была в Доме ученых в Детском Селе. Мы просто недоедали там. Ученые с мировым именем питались только пшенной кашей”.<sup>110</sup> К 1940 году питание в домах творчества заметно улучшилось. По крайней мере, на еду ни Мур, ни Цветаева не жаловались. Когда в апреле 1940-го им придется делить один обед на двоих, Мур будет вполне наедаться даже половиной порции. Но здание не стало ни больше, ни комфортабельней. Так что Цветаевой и Муру, снимавшим комнату в соседней избушке, было, в общем-то, не хуже, чем остальным. Советские писатели, даже преуспевающие, спали на узких железных кроватях с металлической сеткой, что стояли в маленьких тесных номерах.

Если Мур не болел, или ему становилось лучше и температура спадала, – он шел в школу. А после школы отправлялся “завтракать”. На самом деле это был не завтрак, а обед. Но у Мура были французские понятия о еде, и русский обед соответствовал у него французскому *déjeuner*. Его сопровождала Цветаева: стройная женщина, “вся в серебряных украшениях”, как будто ниоткуда возникала в дверях. “В нескольких шагах за нею шел (просто шел!) большой красивый мальчик...”<sup>111</sup>

За круглым обеденным столом одновременно собиралось человек восемь – десять. Этот порядок был введен бессменным директором голицынского дома Серафимой Фонской. Протоиерей Михаил Ардов называет ее “замечательной и добрейшей женщиной”<sup>112</sup>, а филолог Анна Саакянц – “послушным и твердым орудием в руках начальства”, подавлявшим “в себе элементарные чувства порядочного человека”.<sup>19</sup>

Места за столом были закреплены за постояльцами, поэтому соседу обычно не приходилось выбирать. Рядом с Мариной Ивановной должен был сидеть ее старый знакомый, драматург и театральный критик Владимир Волькенштейн, бывший муж Софьи Парнок. Но он то ли испугался соседства с “белоэмигранткой”, то ли не хотел видеть рядом человека из прошлого – на приветствие Цветаевой не ответил и даже попросил пересадить его подальше от нее. Но другие не чурались Марины Ивановны и ее сына. Цветаевские стихи двадцатых – тридцатых в СССР знали мало, но помнили стихи дореволюционные. К тому же Цветаева приехала из Парижа, а само слово “Париж” сводило и сводит с ума людей, там не бывавших. Кажется, даже одиозные советские критики – бывшие рапповцы, лэфовцы, конструктивисты – охотно общались с нею и с Муром. “Ермилов, Зелинский, Перцов и Серебрянский – все веселые, культур-

<sup>19</sup> Анна Саакянц пишет, что Серафима Фонская не дала Цветаевой ни керосиновой лампы, ни дров. А когда у Цветаевой не хватило денег платить за еду, Фонская без колебаний сняла их с Георгием с довольствия. См.: Саакянц А. Марина Цветаева: жизнь и творчество. М.: Эллис Лак, 1999. С. 704, 766.

ные и симпатичные люди”, – писал он. Что ни критик, то целый Змей Горыныч, дракон огнедышащий. Ермилову чуть-чуть не хватило, чтобы его имя стало нарицательным. В “Литературной газете” он травил Андрея Платонова: “Советским людям противен и враждебен уродливый, нечистый мирок А.Платонова”. Громил в “Правде” Николая Заболоцкого за “клевету на колхозное движение и проповедь кулацкой идеологии”.

Однако Муру нравились постояльцы Дома творчества. С ними было интересно. Все-таки Муру 1 февраля 1940-го исполнилось только пятнадцать, и при всей его одаренности, при фантастических для его возраста эрудиции и уме он был слишком неопытен. Несмотря на аресты сестры и отца, он верил в лучшее будущее. Мур не сомневался, что он создан для радости, что его ждет долгая, интересная жизнь. Надо находить удовольствие каждый день, видеть приятное, наслаждаться тем, что имеешь.

ИЗ ДНЕВНИКА ГЕОРГИЯ ЭФРОНА, 18 МАРТА 1940 ГОДА: *Приятно опять окунуться в глупую и веселую школьную жизнь, и я люблю пикантность того, что после школы я попадаю в Дом отдыха (завтрак) в совершенно противоположную духу нашего класса обстановку и атмосферу: и разговоры, и люди другие. Это действительно очень пикантное положение. Я люблю атмосферу Дома отдыха.*

## 2

Особенно дружил Мур с Корнелием Люциановичем Зелинским. Критик приносил Муру книги и любимый журнал Георгия – “Интернациональную литературу”. Это был тот самый Зелинский, проклятый, наверное, всеми цветаеводами, историками литературы и преданными читателями Цветаевой. Именно он напишет разгромную внутреннюю рецензию на сборник стихотворений, который Марина Ивановна подготовит для Гослитиздата: “Истинная трагедия Марины Цветаевой заключается в том, что, обладая даром стихосложения, она в то же время не имеет что сказать людям. Поэзия Марины Цветаевой потому и негуманистична и лишена подлинно человеческого содержания. И потому ей приходится, утоляя видимо стихотворческую потребность, громоздить сложные, зашифрованные стихотворные конструкции, внутри которых – пустота, бессодержательность”<sup>113114</sup>. До этой рецензии у Цветаевой была надежда на публикацию своих стихов в Советском Союзе. Напечатал же “Советский писатель” в 1940-м ахматовский сборник “Из шести книг”, а за три года до этого вышла “Вторая книга” Заболоцкого. Да, изуродованная цензурой, но все-таки вышла. А вот “Избранное” Цветаевой опубликуют лишь в 1961-м, через двадцать лет после ее гибели.

Внутренняя рецензия Зелинского стала известна в литературном мире, ведь сам автор охотно читал ее своим студентам.<sup>115</sup> В ИФЛИ, где Зелинский преподавал, он получил репутацию “растленного” и “продажного” литературоведа. Отчество Люцианович переделали в Люциферович.

Зелинскому было немного за сорок. В двадцатые годы он вместе с Ильей Сельвинским был организатором и теоретиком Литературного центра конструктивистов, в который входили Эдуард Багрицкий, Евгений Габрилович, Александр Квятковский. Позднее Зелинский, конечно же, отречется от своего увлечения “левым уклоном” в литературе, но с тем же Сельвинским и с Борисом Агаповым будет дружить и много позднее. Сохранился дневник Зелинского – замечательный документ, который сам Корнелий Люцианович называл “повестью уродств, проходящих мимо, оставляющих след на бумаге. Это своеобразный «портрет Дориана Грея», стареющего вместо оригинала...”<sup>116</sup>

Вот 2 января 1933 года Зелинский записывает разговор с Петром Замойским (Зевалкиным), бывшим председателем Всероссийского общества крестьянских писателей: “Что же это

делается? <...> Сейчас два моих брата – они теперь работают в Москве ломовыми извозчиками – бежали из колхоза. Скопили в Москве по полтораста рублей, приехали к себе в деревню. Думали, детишкам что-нибудь сделают, помогут – ведь голые, босые все сидят. <...> Дома хоть шаром покати. Ни овцы, ни кошки. Я ведь сам этот колхоз организовывал. Мне теперь стыдно и домой показываться. <...> У всех наших активистов хозяйства поразорены, дети поумирали. И ведь не один этот год. Уже третий год. И всё год от года хуже. В прошлом году уже взяли из колхоза всё под метелку. Просто стон пошел”.<sup>117</sup> А три месяца спустя в редакции журнала Зелинский примет участие в травле Павла Васильева: “...откуда явился Васильев? Почему на 16-м году пролетарской революции, после ликвидации кулачества как класса, появляется такой поэт? Значит, не вся еще молодежь наша? <...> Значит, пережитки капитализма еще сильны”.<sup>118</sup>

Мур называл Зелинского “мой голицынский друг”, отзывался о нем как о человеке “симпатичном и осторожном”. Кстати, эти характеристики точны. Зелинский любил нравиться студентам, заигрывал с молодежью. А рецензия на Цветаеву была следствием той самой “осторожности”<sup>20</sup> Корнелия Люциановича.

Поразительно, но Мур будет поддерживать с ним хорошие отношения и дальше. В 1942-м они встретятся в Ташкенте, и Зелинский объяснит Муру, будто “инцидент с книгой М.И. был «недоразумением»”. Мур его великодушно простит<sup>119</sup>. В 1943-м он будет слушать лекции Зелинского в Литературном институте. В 1944-м вспомнит о нем в одном из фронтовых писем, попросит передать “привет Корнелию Люциановичу”.<sup>120</sup>

---

<sup>20</sup> Зелинский, очевидно, в самом деле жил в страхе. Его сестра Тамара сидела в лагере, ее мужа М.А.Танина расстреляли в 1937-м. В любой момент преуспевающий критик и преподаватель мог оказаться бесправным узником ГУЛАГа.

## За чтением советских газет

Вернувшись с обеда, Мур читал свежую прессу. Дом творчества выписывал газеты, но другие постояльцы тоже хотели их почитать, так что раньше шести часов вечера до Мура они не доходили.<sup>121</sup> Поэтому Цветаева ходила на станцию – покупала сыну “Правду”. Сама газет не читала, всегда их терпеть не могла, а Георгий еще в Париже пристрастился к ним: “Газетами всю жизнь брезговала, а Мур – из них пьет, и я ничего не могу поделать, ибо наш дом завален газетами, и нельзя весь день – рвать из рук”.<sup>122</sup> В Париже газеты читал и Сергей Яковлевич. Во Франции было принято интересоваться текущей политикой.

Политизированность французов удивляла консервативно настроенных русских путешественников еще в XIX веке: “Здесь всё – политика, в каждом переулке и переулочке – библиотека с журналами. Остановишься на улице чистить сапоги – тебе суют в руки журнал; в нужнике – дают журнал... О делах Испании больше всякой хлопочет, нежели о своих собственных”<sup>123</sup>, – писал Николай Васильевич Гоголь в январе 1837 года. Газета по-французски – *journal*. Скорее всего, Гоголь имел в виду именно газеты, а не журналы.

В конце тридцатых годов XX века газета – главный источник сведений о мире. Телевидение было новинкой, мало кому доступной. Радио слушали все, но оно не могло заменить газет. Продавцы на улицах предвоенного Парижа торговали газетами, обходясь без магазинов и киосков. Значит, был немалый спрос. Мур писал, как по воскресным дням перед вокзалом Монпарнас соревновались “в крикливом рвении продавцы газет крайних политических направлений”, от коммунистической “*L'Humanité*” до монархической и антисемитской “*Action française*”. При этом продавцы мирно уживались друг с другом: “драки между ними” бывали редко.<sup>124</sup>

ИЗ РОМАНА АНДРЕ ЖИДА “ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ”: ...один из спорщиков сидел на скамейке и читал “*Action française*”.

<...> Молинье, как и Бернар, на мгновение задерживался у той или другой группки; он делал это из вежливости: ничто в этих спорах его не интересовало.

Он склонился над плечом читавшего. Бернар, не оборачиваясь, услышал, как он говорил:

– Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит.

Читавший резко ответил:

– А ты зеленеешь от злости, как слышишь о Моррасе.

Третий насмешливо спросил:

– Тебе доставляют удовольствие статьи Морраса?

Первый ответил:

– Мне плевать на них, но я считаю, что Моррас прав.<sup>125</sup>

Шарль Моррас – монархист и фанатичный католик, убежденный антисемит и расист. Но при этом – яркий, интересный журналист, которого читали даже левые. Не соглашаться, но интересоваться и спорить – это было так естественно и для Мура, и для Мити. Но не для их советских сверстников.

Первым разочарованием Мити Сеземана в советской жизни стало отсутствие некоммунистических газет. “Дело в том, что в Париже я был уже два или три года пожирателем газет, причем как правых, так и левых, и тратил на них большую часть моих карманных денег”<sup>126</sup>, – вспоминал он. И вот уже на другой день по приезде в Москву Митя отправился на Пятницкую, за свежей прессой. “Скажите, пожалуйста, какие у вас есть французские газеты?” – спросил он продавца. “Даже при скромном воображении легко представить себе, какое впечатление дол-

жен был произвести такой вопрос, заданный громко, среди бела дня, на московской улице в октябре тридцать седьмого года”.<sup>127</sup>

Впрочем, эффект не был таким уж разрушительным. Продавец посоветовал дойти до гостиницы “Балчуг” (тогда она называлась “Новомосковская”, но в мемуарах Сеземана названа “Балчугом”). Это всего в нескольких минутах ходьбы по Пятницкой в сторону Москва-реки. В “Новомосковской” останавливались иностранцы и был газетный киоск, где теоретически можно было найти зарубежные издания. Но и в гостиничном киоске французских газет не нашлось. Продавщица, “довольно бойкая, еще нестарая женщина”, посоветовала Мите отправиться в книжный магазин на Пушкинской площади. Как раз в тот момент к остановке подошел автобус № 6, который и доставил его на Пушкинскую площадь. Митя легко нашел отдел иностранной прессы и спросил, есть ли французские газеты. “«Есть, конечно, вот, пожалуйста», – и протянула мне «*L'Humanité*», орган французской коммунистической партии. Я обрадовался, поблагодарил и сказал, что мне хотелось бы купить и другие французские газеты. Барышня обратила на меня лучистый взор и с некоторым удивлением ответила: «А во Франции никаких других газет, кроме «*L'Humanité*», нет, гражданин»”.<sup>128</sup>

Пятнадцатилетний Митя был потрясен. Он хотел было рассказать молодой наивной москвичке, что лишь на днях покупал в Париже несколько газет, от коммунистической «*L'Humanité*» до правой “*Candide*”, которую ценил за острые статьи и карикатуры: “Только вмешательством моего ангела-хранителя можно объяснить то, что я благоразумно воздержался от такой просветительской речи”<sup>129</sup>, – заметил Дмитрий Сеземан, уже взрослый, даже немолодой мемуарист. А юного Митю в 1937–1938-м еще долго удивляло: почему московская молодежь не обсуждает политические вопросы? Скажем, дискуссии о процессе над “правотроцкистским блоком” его русские сверстники предпочитали... хоровое пение.

Муру еще предстоит сделать эти открытия. Пока что его возмущали соседки – дочери хозяйки дома, где квартировали Цветаева и Мур: “Все-таки странно. Пытался с ними говорить о международном положении – *ни черта* (курсив Георгия Эфрона. – С.Б.) не знают! Абсолютно ничего не знают”.<sup>130</sup> Только позже он поймет, что международная политика в СССР интересна немногим, а о политике внутренней лучше вообще помолчать. Вряд ли нормального человека могли привлечь бесконечные статьи о подготовке очередных выборов в Верховный совет (безальтернативных, с результатами, известными заранее), о достижениях стахановцев, о соцобязательствах колхозников и битве за урожай.

В СССР газеты выпускали, и огромными тиражами. Их раскупали – газета всегда нужна. Завернуть вареную курицу, пару-тройку вареных яиц, палку копченой колбасы, пару кусков мыла... Можно сделать простой и удобный кулек для семечек, легкую и удобную летнюю шляпу. А стоит – 10 копеек! Наконец, вплоть до брежневских времен использовали газету и в качестве туалетной бумаги. При нехватке упаковочной бумаги и полном отсутствии бумаги туалетной спрос на газеты никогда не снижался.

Газеты, конечно же, читали. Узнавали новости международной жизни, расширяли свой кругозор. Просматривали объявления, театральные рецензии, рецензии на книги, просветительские очерки о композиторах, поэтах, прозаиках. Читали фельетоны на актуальные темы: о дефиците, о нерадивых директорах магазинов, из-за которых советский человек не может купить тетрадь или новый примус. Многие газеты печатали репортажи с международных, общесоюзных и республиканских шахматных турниров. Изучали партии – изображение шахматной доски с расставленными фигурами появлялось почти в каждом номере “Вечерней Москвы”. Рядом с доской – перечень ходов, сделанных соперниками. Шрифт мелкий, бисерный, но читатели разбирали его, даже если приходилось вооружиться очками или лупой. В популярности шахматы могли соперничать с футболом. Заметки о футбольных матчах тоже читали, конечно.

Наконец, на четвертой полосе вплоть до 22 июня 1941 печатались объявления самого разнообразного содержания. Анонсы новых художественных фильмов и спектаклей в столичных театрах. Объявления об аренде жилья, о купле-продаже самых разнообразных товаров – от пианино до простых ящиков из досок. Сообщали о приеме у населения стеклотары, в том числе такой экзотической, как бутылки из-под шампанского. Производство шампанского в СССР освоили в 1937-м, а в 1940-м уже принимают бутылки по 60 копеек, и даже пробки из-под шампанского – по 15 копеек штука. Накануне курортного сезона (в предвоенном СССР он уже был) рекламировали санатории и сами курорты.

В 1940-м и в первой половине 1941-го «Вечерняя Москва» публикует множество объявлений: рекламируют универмаги, гастрономы, новые продукты, которые были еще в диковинку советскому покупателю. Скажем, томатный сок, соевый соус, консервированные крабы.

Перед войной печатались даже сообщения о защите диссертаций. Советские люди имели возможность узнать имена новых кандидатов и докторов наук, темы их диссертаций и даже прийти к ним на защиту.

Бросаются в глаза многочисленные объявления о работе. Судя по газетам, советским предприятиям и конторам хронически не хватало специалистов, квалифицированных и неквалифицированных рабочих. Требовались бухгалтеры и счетоводы, токари и фрезеровщики, машинистки и лаборанты, слесари, геологи, грузчики, автомеханики, электромонтеры. Не имеющих квалификации приглашали на бесплатные курсы, которые готовили не только учеников квалифицированных рабочих, но и бухгалтеров, «работников на счетных машинах» и «механиков счетно-вычислительных машин». Список востребованных профессий начинался инженерами-конструкторами и радиоинженерами и заканчивался уборщицами, мастерами химчистки, гладильщицами и утюжильщиками (была и такая профессия).

Зазывал к себе рабочих завод «Красная труба». Тресту «Мясомолмаш» требовались инженеры, деталировщики и копировщики. Фабрика с загадочным названием «Гален-Москва» набирала швей-мотористок, учениц, «работниц в цеха на легкую и чистую работу», подсобных рабочих.

В общем, и в советской прессе было много интересного, ценного, важного для простого человека. А политика и то, что с натяжкой можно было бы назвать общественной жизнью, – кому это было интересно? Что там читать? Тем более – что обсуждать? Большой террор только-только миновал. Неосторожное слово могло погубить навсегда и карьеру человека, и саму жизнь. Какие там дискуссии? Надо было быть совсем уж бесстрашным или совершенно наивным человеком, чтобы обсуждать советскую внешнюю политику или процесс над «врагами народа». Впрочем, не в одном лишь страхе дело. Народ в большинстве своем политикой не интересовался, потому что глупо интересоваться тем, что от тебя всё равно не зависит.

Весной 1940-го Мур и представить себе не мог, что такие настроения в Советском Союзе преобладают. Он ведь был в курсе событий международной жизни. В конце февраля – начале марта Красная армия, прорвав линию Маннергейма, наступала на Выборг. Это были последние, решающие бои Зимней войны. Советские газеты очень мало писали о боях с «белофиннами» и «так называемом финляндском правительстве»<sup>131</sup>. «Правда» печатала лаконичные, в несколько строчек, сводки «От штаба Ленинградского военного округа». Иногда давала выжимки из иностранных газет: «Германская печать об успехах Красной армии в Финляндии»<sup>132</sup>, «Болгарская печать об успехах Красной армии в Финляндии»<sup>133</sup>, «Американская газета о поражении белофиннов»<sup>134</sup>.

По особым случаям ставили большой материал на первой странице. Как раз 4 марта напечатали ответ штаба Ленинградского военного округа на «фантастические выдумки» «обанкротившихся финских правителей» о ежедневных массированных бомбардировках гражданского населения Финляндии. 13 марта «Правда» опубликовала текст мирного договора «между СССР

и Финляндской республикой” на первой странице и огромную карту Финляндии с отрезанными от нее по договору землями – на второй. И несколько дней в советских городах – от Ленинграда до Хабаровска, от Киева до Орджоникидзе – собирались митинги, где славили “победу мирной политики Советского Союза”.

Но большинство газетных полос занимали совсем другие материалы. Бесконечные рассказы о стахановцах, о подготовке колхозников к весеннему севу, о социалистическом соревновании в деревне, о юбилее “мастера сталинского стиля работы” товарища Молотова, наконец. Однако Мур уже умел находить в потоке слов главное: “Вчера, 13 марта 40 года, заключен мир с Финляндией. Мне кажется, что это должно быть большим ударом для Англии и Франции. Будем ждать, что будет дальше в сложной международной политике”.<sup>135</sup> И в самом деле, Англия и Франция собирались отправить в Финляндию экспедиционный корпус, но вовремя заключенный мир этому помешал. А за две тысячи километров от Москвы, во французском Грассе, Иван Бунин записывал: “Вчера страшная весть – финны сдались, согласились на тяжкий позорный мир”<sup>136</sup>.

Мура чрезвычайно интересовали события на фронтах Второй мировой. Впрочем, ее в СССР тогда называли иначе: “война в Европе” или даже “вторая империалистическая война”<sup>137</sup>. О Германии писали скупно, без обязательной еще год назад характеристики “фашистская”. Лишний раз не поминали одиозного Гитлера – просто Германия, и всё. Даже перепечатывали сводки “командования германской армии”<sup>138</sup>.

О противниках Германии писали несколько иначе. Рассказывали, как “английских трудящихся заставляют оплачивать войну”. Жалели несчастных австралийцев, что вынуждены нести бремя военных расходов: “Среди трудящихся масс растет движение против империалистической войны, чуждой интересам народа и выгодной только отечественной и иноземной плутократии”.<sup>139</sup>

Карикатуры на Гитлера и фашистов на время исчезли, зато карикатур на англичан было сколько угодно. Англию советские художники изображали в виде льва с цилиндром на голове. Немного смешного, забавного, но агрессивного и хищного. Вот лев тянет за хобот индийского слона – это Британия хочет втравить в войну свою колонию, Индию. Советский художник нарисовал и другую картинку: слон хоботом скрутил льва и поднял высоко над землей. Подпись: “Вот чем это может закончиться”. У ног британского льва лежит птичка с бумажкой. “Это голубь мира? Нет, голубя мира он давно съел. А это почтовый голубь, летевший из Америки”.

Секретарь Исполкома Коминтерна товарищ Димитров на страницах газеты “Правда” бичевал буржуазию, которая “распространяет ложь о «справедливом» характере ее войны, а с другой стороны, душит всякое антивоенное выступление террористическими мерами. <...>... Это война антинародная, потому что это война для богачей, <...> это война реакционная”.<sup>140</sup>

“Комсомольская правда” рассказывала читателю об “антивоенном движении молодежи Англии”<sup>141</sup>. “Вечерняя Москва” восхваляла внешнеполитический курс Сталина – Молотова: “Советский Союз благодаря мудрой сталинской внешней политике оказался вне войны. <...> Мы соблюдаем нейтралитет в войне, затеянной англо-французским блоком в Европе”.<sup>142</sup>

Много позднее Мур будет с гордостью утверждать, что всегда был политически “дальновидным и прозорливым” и его никогда “не обманывал общий тон советской печати, благоприятствовавший, во всяком случае, больше Германии, чем Англии и Америке”<sup>143</sup>. В школе Мур всегда был за англичан, американцев (еще, впрочем, не воевавших, но активно помогавших Англии) и де Голля. Но собственный дневник Георгия свидетельствует против него. Мур наблюдает за войной, как зритель за увлекательным матчем. Причем весной 1940-го он болеет за немцев. “События в Норвегии здорово развиваются – англичан бьют, и они эвакуируют свои

войска. Так им и надо – затеяли войну и не способны ее вести, всё из-за Чемберлена – этого старого дурака”<sup>144</sup>, – записывает Мур 6 мая 1940 года.

## Весна и Митька

8 апреля к Цветаевой и Муру приехали Муля Гуревич с Иришей, всё такой же красивой и легкомысленной. Муля предложил пойти всем вместе в кино на американский фильм “Сто мужчин и одна девушка”. Для Мура это было событие: “Ведь не шутка! Американский фильм в Москве!” Мур первым делом вспомнил о Мите. Написал ему записку, которую, очевидно, передал через Ирину. Только досадовал, что “мама тоже хочет посмотреть этот фильм”.<sup>145</sup> Лучше бы пойти вдвоем с Митькой...

У Дмитрия была своя “большая болезнь”. В январе 1938-го, в первую же для него русскую зиму Дмитрий заболел “бурным воспалением легких”. Оно перешло в туберкулез, от которого тогда еще умирали писатели и принцессы, ученые и политики, художники и кинозвезды, не говоря уж о множестве простых людей, не имевших средств на хорошее питание и лечение. В конце 1930-х это по-прежнему опасная и трудно поддающаяся лечению болезнь. В апреле 1937-го от нее умер Илья Ильф, не дожив и до сорока лет.

Дмитрий лечился в московском Институте туберкулеза Наркомздрава РСФСР, затем в одном из его отделений – в санатории для пациентов с закрытыми формами туберкулеза. Санаторий этот открыли еще до революции в Сокольниках. Тогда это была окраина Москвы. Во времена Мура и Мити – отдаленный район. Среди методов лечения Дмитрий упоминает пневмоторакс: прокалывали грудную клетку платиновой иглой и вводили воздух в плевральную полость. Эту процедуру повторяли с определенной периодичностью не меньше двух-трех лет.

Весной 1940-го Мите восемнадцать лет, и он почти сирота. Мать и отчим сидят на Лубянке, брат Алексей – в лагере. Еще в феврале 1939-го умер его дедушка, академик Николай Викторович Насонов. Митя остался на содержании бабушки Екатерины Александровны, что происходила из дворянского рода Корниловых. Ее братом был известный русский историк Александр Александрович Корнилов (младший), автор популярного в свое время курса русской истории XIX века, отцом – высокопоставленный чиновник, действительный тайный советник Александр Александрович Корнилов (старший), дядей – Алексей Александрович Корнилов, адмирал, участник обороны Севастополя.<sup>21</sup>

Мур и Митя встретились 12 апреля и пошли в Музей нового западного искусства, а потом ели мороженое в кафе на улице Горького, бродили по весенней грязи Гоголевского бульвара. Митя “был очень весел и, по обыкновению, остроумен и блестящ”. Возобновилась их дружба, прерванная в 1939 году болезнью Мити, бегством Цветаевой из Болшево и зимой, проведенной в Голицыно.

Далеко не вся жизнь советского человека тех лет проходила между проходной завода и колонной марширующих демонстрантов, как это изображала советская пропаганда и как до сих пор изображает пропаганда антисоветская. Даже в предвоенные годы жизнь текла своим чередом. Женщины старались одеваться красиво и нравиться мужчинам. Мужчины хотели нравиться женщинам. В танцзале при роскошной гостинице “Москва” каждый вторник устраивались балы. На объявлении о балах призывно красовались слова: “Конкурсы. Показы (неужели показы мод? – С.Б.). Цветы. Конфетти. Серпантин”<sup>146147</sup>. Там же открыли школу танцев, набирали новые группы для занятий по воскресеньям – с семи до десяти вечера. Рестораны и кафе гостиницы приглашали “хорошо отдохнуть, весело провести время и вкусно покушать”. Центральный ресторан работал до четырех утра. Во многих ресторанах играли джаз-оркестры. Джаз царил тогда на московской эстраде.

<sup>21</sup> Не путать со знаменитым адмиралом Владимиром Алексеевичем Корниловым, который первым возглавил оборону Севастополя, создал вокруг него сухопутные укрепления и 5 октября 1854 года погиб на Малаховом кургане, в день первой бомбардировки города.

В Большом театре давали “Пиковую даму”, в Театре оперетты – “Сильву”, во МХАТе – “Тартюфа”, в Московском государственном театре имени Немировича-Данченко – “Периколу”. В Москве работали уникальные этнические театры: Московский государственный еврейский театр и цыганский театр “Ромэн”. В Доме союзов шел вечер еврейского юмора, с участием Соломона Михоэлса и Михаила Ромма. По понедельникам театры не работали, но если не ночная, то вечерняя жизнь продолжалась. В помещении Театра эстрады и миниатюр (на улице Горького, дом 5) играл популярнейший джаз Цфасмана, выступал куплетист Илья Набатов. Если же не было денег или не с кем было пойти в театр или на концерт, можно было просто фланировать по Тверскому, как это делал Мур и 20 апреля 1940 года, и 30 апреля, и 1 мая: “С весной Москва похорошела. Женщины стали красивее, интереснее”<sup>148</sup>.

Уже в конце мая Мур и Митя расстанутся, опять-таки из-за Митиной болезни, точнее, из-за лечения. Туберкулез тогда лечили на климатических курортах – горным или степным воздухом. Больных, как и в царское время, отправляли в Крым пить красное вино, на среднегорье Северного Кавказа (Теберда) лечиться чистым воздухом, солнцем и айраном и в Башкирию – в надежде на целебные свойства кумыса. В башкирских степях и живописных предгорьях Южного Урала лечились некогда Лев Николаевич Толстой (успешно) и Антон Павлович Чехов (безуспешно). Башкирским кумысом и воздухом лечил чахотку и Сергей Яковлевич Эфрон еще в 1911 году. Не южный вроде бы край, но роза ветров такая, что в окрестностях Белебея, где поправлял здоровье Сергей Яковлевич, климат теплый и не сырой. Преобладают сухие южные и юго-западные ветра, что плохо для туберкулезной палочки Коха и хорошо для больных.

В конце мая в Башкирию отправят Митю Сеземана, снова, пусть и ненадолго, прервав их общение с Муром. До июля 1940-го.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Митя будет болеть еще долго и, что удивительно, окончательно вылечится в годы Великой Отечественной. “Из этого опыта я должен был сделать вывод, немного поспешный, что мировые конфликты оказали разрушительное влияние на бактерии Коха”, – с присущей ему иронией заметит Дмитрий Сеземан. См.: *Sesemann D. Les confessions d'un mètèque. P.: J.-C. Lattès, 2001. P. 87.* Здесь и далее перевод Людмилы Пачепской.

## Пасху пропустили

Пасха в 1940-м пришлось на 28 апреля. Мур и не вспомнил о ней. Цветаева тоже не праздновала. В этот день она вместе с Митей Сеземаном и двумя сотрудниками НКВД ездил в Болшево, чтобы забрать оставшиеся вещи. В основном французские книги. Оказалось, что на даче повесился начальник местной милиции: “Привязал ремень к кровати, в петлю просунул голову и шею, уперся ногами в кровать – и удавился”. Цветаева вспоминала: “...мы застали его гроб и его – в гробу. Вся моя утварь исчезла, уцелели только книги”.<sup>149150</sup> Эту новость Цветаева привезла Муру вместе с книгами. В тот день им было не до праздника, но и позднее ни Вознесение, ни Пятидесятницу, ни Успение пресвятой Богородицы они не отмечали. Православные праздники для них окончились еще с отъездом из Парижа, а возможно, и раньше. Цветаева крестилась на все церкви, – но пыталась ли она пойти на службу, поучаствовать в литургии, исповедаться, причаститься? Правда, найти действующий храм и священника в Москве 1940-го было уже нелегко.

“Увидали мы и попа в длинном черном халате. Посмотрели ему вслед и подивились тому, что остались еще на свете чудачки-люди”, – говорит герой-повествователь чудесного рассказа Аркадия Гайдара “Голубая чашка”.<sup>151</sup>

Религия – анахронизм, священник – диковинка, будто живой экспонат, сбежавший из музея атеизма. И уже слово “ряса” забылось, вышло из употребления, отсюда и “черный халат”. Как бы хотелось убежденным атеистам, чтобы эта мечта стала реальностью. А реальностью она не стала. По данным переписи 1937-го, более 56,7 процентов взрослого населения (55 300 000) оказались верующими.<sup>23</sup> Очевидно, верующих было еще больше, просто многие боялись отвечать на вопрос в анкете.

А ведь сколько сил потратили на борьбу с религией! Карикатуры на “попов” не сходили со страниц советских газет. Во время Большого террора, при наркоме Ежове, епископов расстреливали десятками, монахов – сотнями, священников – тысячами. К 1939 году в советской России не осталось ни одного монастыря, были закрыты все духовные академии и семинарии. Но полностью уничтожить почти тысячелетнюю традицию русского православия было невозможно.

---

<sup>23</sup> Верующих было даже больше. Около 1 миллиона человек отказались отвечать на вопрос о вере, “ссылаясь на то, что «ответственны только перед Богом» или что «Богу известно, верующий я или нет»”. Историк Валентина Жиромская полагает, что “значительную часть отказавшихся от ответа составляли раскольники-старообрядцы и сектанты”. *Жиромская В.Б. Религиозность народа в 1937 году (По материалам Всесоюзной переписи населения) // Исторический вестник. 2000. № 1 (5). URL: //http://krotov.info/history/20/1930/1937\_zher.htm.*

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.